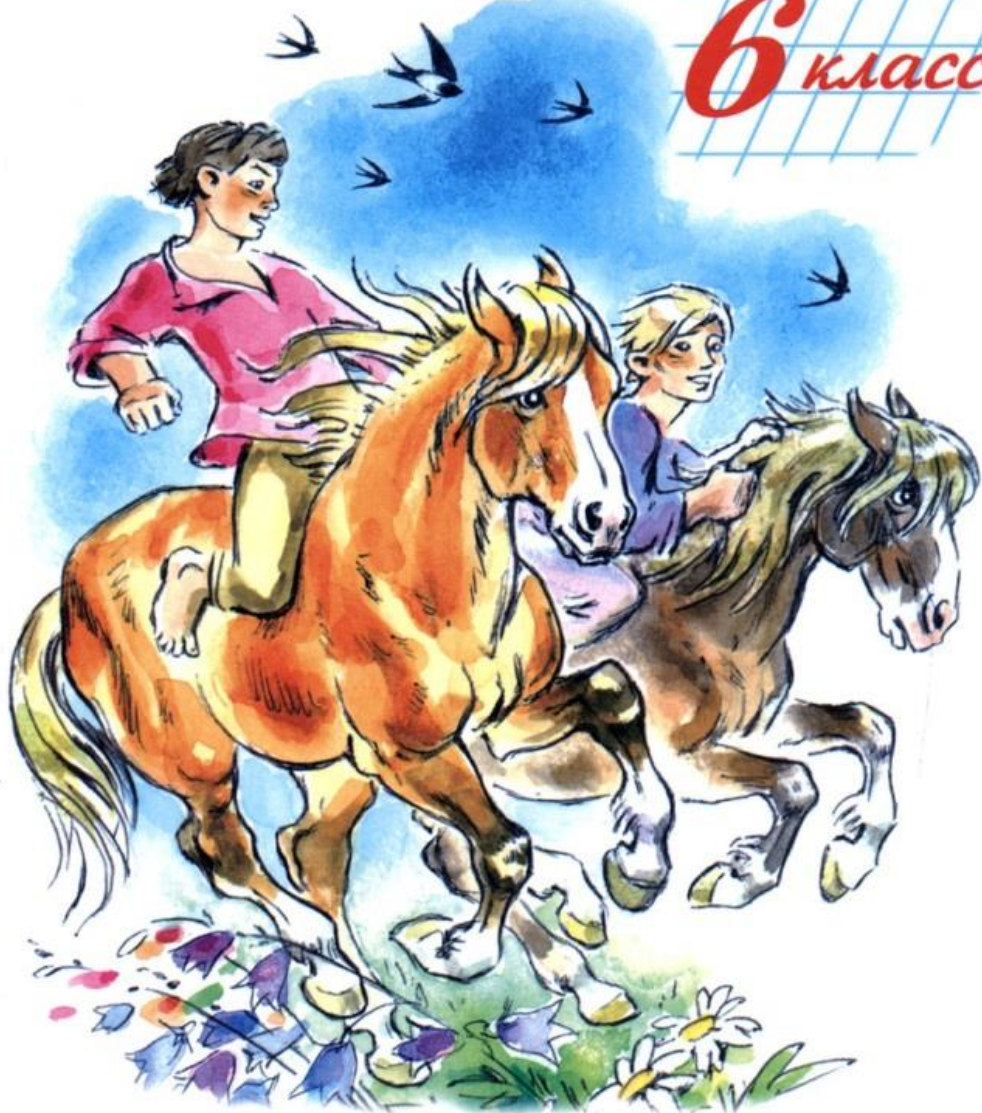


ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

6 класс



ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕЧАТАЮТСЯ БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ

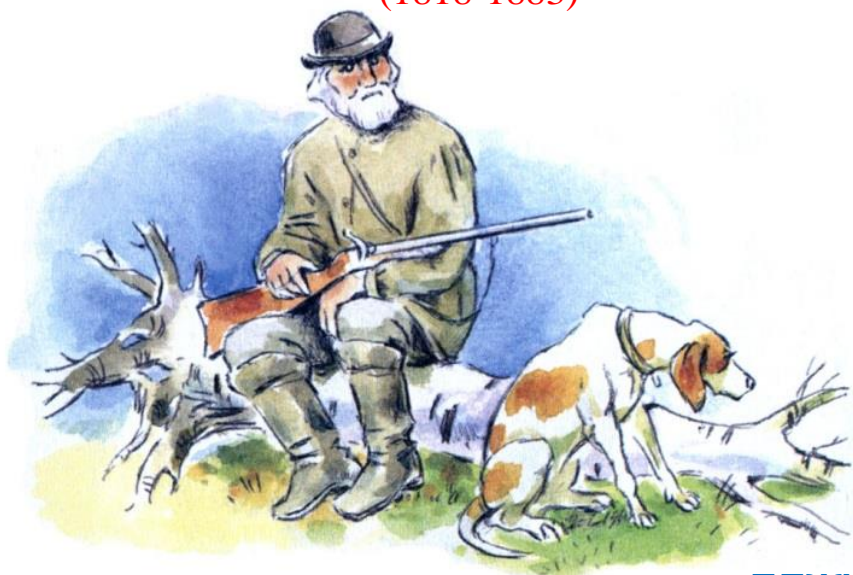
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

(для 6-го класса)



Художник
Владимир Черноглазов

ИВАН ТУРГЕНЕВ
(1818-1883)



БЕЖИН ЛУГ

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветливо лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка за-сверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же ла-

зурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно вошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не яркие; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты – несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба...

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился наконец вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожидаемой знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидел совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник.

Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге! – подумал я, – да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», – и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая, высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, – думал я про себя, – тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далёко-далёко, виделось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да это Парахинские кусты! – воскликнул я наконец, – точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало, – одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь

громадными клубами, вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть – но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.

Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» – повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших белых камней, – казалось, они сползлись туда для тайного совещания, – и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам – наудалую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва

прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой и кудрявой головы...

Я узнал наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина Луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мною от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дожидаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю, ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках,



мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, наострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновение, в свою очередь, добежали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах – запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг них; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомиться с ними читателя.)

Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной, полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги – не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были вклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, – что и говорить! – а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи¹ да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевели-

¹ Замашная рубаха – крестьянская рубаха из замашки (ткани из бесплодной коноп-ли); шилась из грубого неотбеленного полотна.

лись, сдвинутые брови не расходились – он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестящие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, – на его языке, по крайней мере, – не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смиренхонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том о сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

– Ну, и что ж ты, так и видел домового?

– Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, – отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, – а слышал... Да и не я один.

– А он у вас где водится? – спросил Павлуша.

– В старой рольне².

– А разве вы на фабрику ходите?

– Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках³ состоим.

– Вишь ты – фабричные!..

– Ну, так как же ты его слышал? – спросил Федя.

– А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухо-руковым, да еще были там другие ребята; всех было нас ребяток человек десять – как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы так пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребята, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а заставки у дворца-то⁴ спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошел тот

² «Рольней», или «черпальной», на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом. (Прим. автора.)

³ «Лисовщики» гладят, скоблят бумагу. (Прим. автора.)

⁴ Дворцом называется у нас то место, по которому вода бежит на колесо. (Прим. автора.)

опять к двери наверху да по лестнице слушаться стал, и этак слушается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал – дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим – ничего... Вдруг глядь, у одного чана форма⁵ зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору!

– Вишь как! – промолвил Павел. – Чего ж он раскашлялся?

– Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

– А что, – спросил Федя, – картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

– Нет, еще сыры... Вишь, плеснула, – прибавил он, повернув лицо в направлении реки, – должно быть, щука... А вон звездочка покатилась.

– Нет, я вам что, братцы, расскажу, – заговорил Костя тонким голоском, – послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.

– Ну, слушаем, – с покровительствующим видом сказал Федя.

– Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

– Ну да; знаем.

– А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, – пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился; зашел – бог

⁵ Сетка, которой бумагу черпают. (Прим. автора.)

знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, – нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, – присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит – никого. Он опять задремал – опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется... А месяц-то светил сильно, так сильно, явственно светит месяц – все, братцы мои, видно.



Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, – а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не воро-

чается... Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор вот он все невеселый ходит.

– Эка! – проговорил Федя после недолгого молчанья, – да как же это может такая лесная нечисть христианскую душу спортить, – он же ее не послушался?

– Да вот поди ты! – сказал Костя. – И Гаврила баил⁶, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

– Твой батька сам это рассказывал? – продолжал Федя.

– Сам. Я лежал на полатях, все слышал.

– Чудно́е дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

– Да, понравился! – подхватил Ильюша. – Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

– А ведь вот и здесь должны быть русалки, – заметил Федя.

– Нет, – отвечал Костя, – здесь место чистое, вольное. Одно – река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стнящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда сре-

⁶ Говорил.

ди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься – и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

– С нами крестная сила! – шепнул Илья.

– Эх вы, вороны! – крикнул Павел. – Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все подоновились к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? – сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожки. Котельчик скоро весь опорожнился.

– А слышали вы, ребятки, – начал Ильюша, – что намеднишь у нас на Варнавицах приключилось?

– На плотине-то? – спросил Федя.

– Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом всё такие бугорки, овраги, а в оврагах всё казюли⁷ водятся.

– Ну, что такое случилось? рассказывай...

– А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще издали видна, да и та чуть видна: так – бугорочек... Вот, на днях, зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас всегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак,

⁷ По-орловскому: змеи. (Прим. автора.)

псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, что – ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки... Но а барашек – ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша!»...

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчишки перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!»... Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесли уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчишки с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

– Что там? что такое? – спросили мальчишки.

– Ничего, – отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, – так, что-то собаки зачужали. Я думал, волк, – прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимо-



стью. Без хвостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!» – думал я, глядя на него.

– А видали их, что ли, волков-то? – спросил трусишка Костя.

– Их всегда здесь много, – отвечал Павел, – да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

– А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал, – заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство). – Да и собак тут не-

легкая дернула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

– Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали – покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка Иван Иваныч, изволишь искать на земле?»

– Он его спросил? – перебил изумленный Федя.

– Да, спросил.

– Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот?

– Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: – Разрыв-травы. – А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы? – Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон...

– Вишь какой! – заметил Федя, – мало, знать, пожил.

– Экое диво! – промолвил Костя, – Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

– Покойников во всяк час видеть можно, – с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья... – Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидеть, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

– Ну, и видела она кого-нибудь? – с любопытством спросил Костя.

– Как же. Перво-наперво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала... только все как будто собачка этак залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась – Ивашка Федосеев идет...

– Тот, что умер весной? – перебил Федя.

– Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться, – ах ты господи! – сама идет по дороге, сама Ульяна.

– Неужто сама? – спросил Федя.

– Ей-богу, сама.

– Ну что ж, ведь она еще не умерла?

– Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, – налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

– Знать от дому отбился, – заметил Павел. – Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

– А что, Павлуша, – промолвил Костя, – не праведная ли это душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

– Может быть, – проговорил он наконец.

– А скажи, пожалуй, Павлуша, – начал Федя, – что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное⁸?

– Как солнца-то не стало видно? Как же.

– Чай, напугались и вы?

– Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напередки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как за-

⁸ Так мужики называют у нас солнечное затмение. (Прим. автора.)

темнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба-стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопреставление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку⁹ увидят.

– Какого это Тришку? – спросил Костя.

– А ты не знаешь? – с жаром подхватил Ильюша. – Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка – эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет – так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, – он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него надедут, а он в ладошки затрепещется – они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

– Ну, да, – продолжал Павел своим неторопливым голосом, – такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у

⁹ В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе. (Прим. автора.)



нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят – вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная... все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» – да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил, да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчишки засмеялись и опять приумолкли на мгновение, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли... Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее...

Костя вздрогнул. «Что это?»

– Это цапля кричит, – спокойно возразил Павел.

– Цапля, – повторил Костя... – А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, – прибавил он, помолчав немного, – ты, может быть, знаешь...

– Что ты слышал?

– А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в

Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел – знаешь, там, где он сугибелью¹⁰ выходит, – там ведь есть бучило¹¹; знаешь, оно еще все камышом заросло; вот, пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у... у-у... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? ась?

– В этом бучиле в запрошлом лете Акима лесника утопили воры, – заметил Павлуша, – так, может быть, его душа жалобится.

– А ведь и то, братцы мои, – возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза... – Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще и не так напужался.

– А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, – продолжал Павел, – которые так жалобно кричат.

– Лягушки? Ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.) Эх ее! – невольно произнес Костя, – словно леший кричит.

– Леший не кричит, он немой, – подхватил Ильюша, – он только в ладоши хлопает да трещит...

– А ты его видал, лешего-то, что ли? – насмешливо перебил его Федя.

– Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.

– Ну, и видел он его?

– Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает...

¹⁰ Сугибель – крутой поворот в овраге. (Прим. автора.)

¹¹ Бучило – глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом. (Прим. автора.)

– Эх ты! – воскликнул Федя, слегка вздрогнув и пере-дернув плечами, – пфу!..

– И зачем эта погань в свете развелась? – заметил Павел. – Не понимаю, право!

– Не бранись: смотри, услышит, – заметил Илья. Настало опять молчание.

– Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, – раздался вдруг детский голос Вани, – гляньте на божьи звездочки, – что пчелки роятся!

Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тивые глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

– А что, Ваня, – ласково заговорил Федя, – что, твоя сестра Анютка здорова?

– Здорова, – отвечал Ваня, слегка картавя.

– Ты ей скажи – что она к нам, отчего не ходит?..

– Не знаю.

– Ты ей скажи, чтобы она ходила.

– Скажу.

– Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

– А мне дашь?

– И тебе дам.

Ваня вздохнул.

– Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руки пустой котельчик.

– Куда ты? – спросил его Федя.

– К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.

Собаки поднялись и пошли за ним.

– Смотри, не упади в реку! – крикнул ему вслед Илья-юша.

– Отчего ему упасть? – сказал Федя, – он остережется.

– Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?.. Вон-вон, в камыши полез, – прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

– А правда ли, – спросил Костя, – что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

– С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавицей была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

– А говорят, – продолжал Костя, – Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул.

– От того самого.

– А помнишь Васю? – печально прибавил Костя.

– Какого Васю? – спросил Федя.

– А вот того, что утонул, – отвечал Костя, – в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды гибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятами, летом в речку купаться, – она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой

светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, — глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет, да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затащит песенку, — помните, Вася-то все такую песенку пел, — вот ее-то она и затащит, а сама плачет, плачет, горько богу жалится...

— А вот Павлуша идет, — молвил Федя.

Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.

— Что, ребята, — начал он, помолчав, — неладно дело.

— А что? — торопливо спросил Костя.

— Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

— Что ты, что ты? — пролепетал Костя.

— Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг, зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.

— Ах ты господи! ах ты господи! — проговорили мальчики, крестясь.

— Ведь это тебя водяной звал, Павел, — прибавил Федя... — А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.

— Ах, это примета дурная, — с расстановкой проговорил Ильюша.

— Ну, ничего, пуцай! — произнес Павел решительно и сел опять, — своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.

— Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался:

— Это кулички летят, посвистывают.

- Куда ж они летят?
- А туда, где, говорят, зимы не бывает.
- А разве есть такая земля?
- Есть.
- Далеко?
- Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

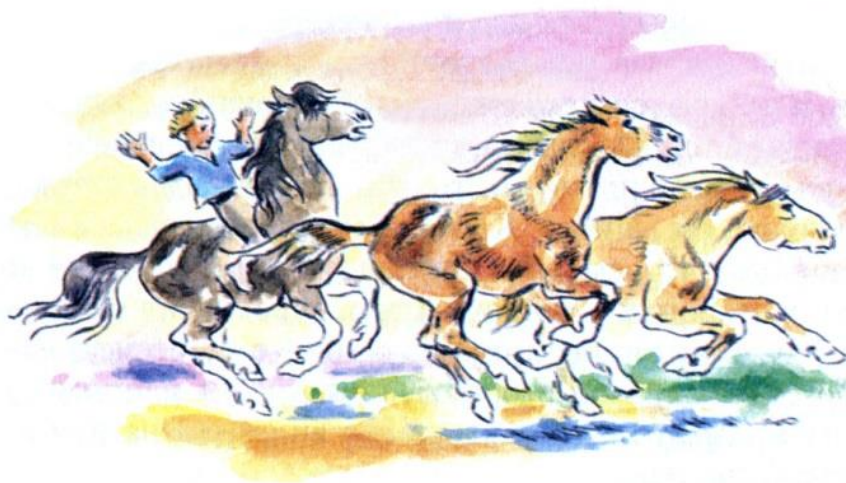
Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоединился к мальчикам. Месяц вошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, перед-рассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, - в нем снова как будто разливалась сырость... Недолги летние ночи!.. Разговор мальчигов угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понуриив головы... Слабое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и пошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль зады-

мившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обгаренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редяющего тумана, – полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принесли звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун...

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!



МАРК ТВЕН (1835-1910)



УКРОЩЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА

Подумав хорошенько, я решил, что справлюсь с этим делом. Тогда я пошел и купил бутылку свинцовой примочки и велосипед. Домой меня провожал инструктор, чтобы преподавать мне начальные сведения. Мы уединились на заднем дворе и принялись за дело.

Велосипед у меня был не вполне взрослый, а так, жеребеночек – дюймов пятидесяти, с укороченными педалями и резвый, как полагается жеребенку. Инструктор кратко описал его достоинства, потом сел ему на спину и проехался немножко, чтобы показать, как это просто делается. Он сказал, что труднее всего, пожалуй, выучиться соскакивать, так что это мы оставим напоследок. Однако он ошибся. К его изумлению и радости обнаружилось, что ему нужно только посадить меня и отойти в сторонку, а соскочу я сам. Я соскочил с невиданной быстротой, несмотря на полное отсутствие опыта. Он стал с правой стороны, подтолкнул машину – и вдруг все мы оказались на земле: внизу он, на нем я, а сверху машина.

Осмотрели машину – она нисколько не пострадала. Это было невероятно. Однако инструктор уверил меня, что так оно и есть; и действительно, осмотр подтвердил его слова. Из этого я должен был, между прочим, понять, какой изумительной прочности вещь мне удалось приобрести. Мы приложили к синякам свинцовую примочку и начали снова. Инструктор на этот раз стал с левой стороны, но и я свалился на левую, так что результат получился тот же самый.

Машина осталась невредима. Мы еще раз примочили синяки и начали снова. На этот раз инструктор занял безопасную позицию сзади велосипеда, но, не знаю уж каким образом, я опять свалился прямо на него.

Он не мог прийти в себя от восторга и сказал, что это прямо-таки сверхъестественно: на машине не было ни царапинки, она нигде даже не расшаталась. Примачивая ушибы, я сказал, что это поразительно, а он ответил, что когда я хорошенько разберусь в конструкции велосипеда, то пойму, что его может покалечить разве только динамит. Потом он, хромя, занял свое место, и мы начали снова. На этот раз инструктор стал впереди и велел подталкивать машину сзади. Мы тронулись с места значительно быстрее, тут же наехали на кирпич, я перелетел через руль, свалился головой вниз, инструктору на спину, и увидел, что велосипед порхает в воздухе, застилая от меня солнце. Хорошо, что он упал на нас: это смягчило удар, и он остался цел.

Через пять дней я встал, и меня повезли в больницу навестить инструктора; оказалось, что он уже поправляется. Не прошло и недели, как я был совсем здоров. Это оттого, что я всегда соблюдал осторожность и соскакивал на что-нибудь мягкое. Некоторые рекомендуют перину, а по моему, – инструктор удобнее.

Наконец инструктор выписался из больницы и привел с собой четырех помощников. Мысль была неплохая.

Они вчетвером держали изящную машину, откуда я взбирался на седло, потом строились колонной и маршировали по обеим сторонам, а инструктор подталкивал меня сзади; в финале участвовала вся команда.

Велосипед, что называется, писал восьмерки, и писал очень скверно. Для того чтобы усидеть на месте, от меня требовалось очень многое и всегда что-нибудь прямо-таки противное природе. Противное моей природе, но не законам природы. Иначе говоря, когда от меня что-либо требовалось, моя натура, привычки и воспитание заставляли меня поступать известным образом, а какой-нибудь незыблемый и неведомый мне закон природы требовал, оказывается, совершенно обратного. Тут я имел случай заметить, что мое тело всю жизнь воспитывалось неправильно. Оно погрязло в невежестве и не знало ничего, ровно ничего такого, что могло быть ему полезно. Например, если мне случалось падать направо, я, следуя вполне естественному побуждению, круто заворачивал руль налево, нарушая таким образом закон природы. Закон требовал обратного: переднее колесо нужно поворачивать в ту сторону, куда падаешь. Когда тебе это говорят, поверить бывает трудно. И не только трудно – невозможно, настолько это противоречит всем твоим представлениям. А сделать еще труднее, даже если веришь, что это нужно. Не помогают ни вера, ни знание, ни самые убедительные доказательства; сначала просто невозможно заставить себя действовать по-новому. Тут на первый план выступает разум: он убеждает тело расстаться со старыми привычками и усвоить новые.

С каждым днем ученик делает заметные шаги вперед. К концу каждого урока он чему-нибудь да выучивается и твердо знает, что выученное навсегда останется при нем. Это не то что учиться немецкому языку: там тридцать лет бредешь ощупью и делаешь ошибки; наконец думаешь, что выучился, – так нет же, тебе подсовывают сослага-

тельное наклонение – и начинай опять сначала. Нет, теперь я вижу, в чем беда с немецким языком: в том, что с него нельзя свалиться и разбить себе нос. Это поневоле заставило бы приняться за дело вплотную. И все-таки, по моему, единственный правильный и надежный путь научиться немецкому языку – изучать его по велосипедному способу. Иначе говоря, взяться за одну какую-нибудь подлость и сидеть на ней до тех пор, пока не выучишь, а не переходить к следующей, бросив первую на полдороге.

Когда выучишься удерживать велосипед в равновесии, двигать его вперед и поворачивать в разные стороны, нужно переходить к следующей задаче – садиться на него. Делается это так: скачешь за велосипедом на правой ноге, держа левую на педали и ухватившись за руль обеими руками. Когда скомандуют, становишься левой ногой на педаль, а правая бесцельно и неопределенно повисает в воздухе; наваливаешься животом на седло и падаешь – может, направо, может, налево, но падаешь непременно. Встаешь – и начинаешь то же самое сначала. И так несколько раз подряд.

Через некоторое время выучиваешься сохранять равновесие, а также править машиной, не выдергивая руль с корнем. Итак, ведешь машину вперед, потом становишься на педаль, с некоторым усилием заносишь правую ногу через седло, потом садишься, стараешься не дышать, – вдруг сильный толчок вправо или влево, и опять летишь на землю.

Однако на ушибы перестаешь обращать внимание довольно скоро и постепенно привыкаешь соскакивать на землю левой или правой ногой более или менее уверенно. Повторив то же самое еще шесть раз подряд и еще шесть раз свалившись, приходишь до полного совершенства. На следующий раз уже можно попасть на седло довольно ловко и остаться на нем, – конечно, если не обращать

внимания на то, что ноги болтаются в воздухе, и на время оставить педали в покое; а если сразу хвататься за педали, то дело будет плохо. Довольно скоро выучиваешься ставить ноги на педали не сразу, а немного погодя, после того как научишься держаться на седле, не теряя равновесия. Тогда можно считать, что ты вполне овладел искусством садиться на велосипед, и после небольшой практики это будет легко и просто, хотя зрителям на первое время лучше держаться подальше, если ты против них ничего не имеешь.



Теперь пора уже учиться соскакивать по собственному желанию; соскакивать против желания научаешься прежде всего. Очень легко в двух-трех словах рассказать, как это делается. Ничего особенного тут не требуется, и, по-

видимому, это нетрудно; нужно опускать левую педаль до тех пор, пока нога не выпрямится совсем, повернуть колесо влево и соскочить, как соскакивают с лошади. Конечно, на словах это легче легкого, а на деле оказывается трудно. Не знаю, почему так выходит, знаю только, что трудно. Сколько ни старайся, слезаешь не так, как с лошади, а летишь кувырком, точно с крыши. И каждый раз над тобой смеются.

В течение целой недели я обучался каждый день часа по полтора. После двенадцатичасового обучения курс науки был закончен, так сказать, начерно.

Мне объявили, что теперь я могу кататься на собственном велосипеде без посторонней помощи. Такие быстрые успехи могут показаться невероятными. Чтобы обучиться верховой езде хотя бы начерно, нужно гораздо больше времени.

Правда, я бы мог выучиться и один, без учителя, только это было бы рискованно: я от природы неуклюж. Самоучка редко знает что-нибудь как следует и обычно в десять раз меньше, чем узнал бы с учителем; кроме того, он любит хвастаться и вводить в соблазн других легкомысленных людей. Некоторые воображают, будто несчастные случаи в нашей жизни, так называемый «жизненный опыт», приносят нам какую-то пользу. Желал бы я знать, каким образом? Я никогда не видел, чтобы такие случаи повторялись дважды. Они всегда подстерегают нас там, где не ждешь, и застают врасплох. Если личный опыт чего-нибудь стоит в воспитательном смысле, то уж, кажется, Мафусаила не переплюнешь, – и все-таки, если бы старик ожил, так, наверное, первым делом ухватился бы за электрический провод, и его свернуло бы в три погибели. А ведь гораздо умнее и безопаснее для него было бы сначала спросить кого-нибудь, можно ли хвататься за провод. Но ему это как-то не подошло бы: он из тех самоучек, которые полагаются на опыт; он захотел бы проверить сам. И в

назидание себе он узнал бы, что скрюченный в три погибели патриарх никогда не тронет электрический провод; кроме того, это было бы ему полезно и прекрасно завершило бы его воспитание – до тех пор, пока в один прекрасный день он не вздумал бы потрясти жестянку с динамитом, чтобы узнать, что в ней находится.

Но мы отвлеклись в сторону. Во всяком случае, возьмите себе учителя – это сэкономит массу времени и свинцовой примочки.

Перед тем как окончательно распротиться со мной, мой инструктор осведомился, достаточно ли я силен физически, и я имел удовольствие сообщить ему, что вовсе не силен. Он сказал, что из-за этого недостатка мне первое время довольно трудно будет подниматься в гору на велосипеде, но что это скоро пройдет. Между его мускулатурой и моей разница была довольно заметная. Он хотел посмотреть, какие у меня мускулы. Я ему показал свой бицепс – лучшее, что у меня имеется по этой части. Он чуть не расхохотался и сказал:

– Бицепс у вас дряблый, мягкий, податливый и круглый, скользит из-под пальцев, в темноте его можно принять за устрицу в мешке.

Должно быть, лицо у меня вытянулось, потому что он прибавил ободряюще:

– Это не беда, огорчаться тут нечего; немного погодя вы не отличите ваш бицепс от окаменевшей почки. Только не бросайте практики, ездите каждый день, и все будет в порядке.

После этого он со мной распротился, и я отправился один искать приключений. Собственно, искать их не приходится, это так только говорится, – они сами вас находят.

Я выбрал безлюдный, по-воскресному тихий переулок шириной ярдов в тридцать. Я видел, что тут, пожалуй, будет тесновато, но подумал, что если смотреть в оба и использовать пространство наилучшим образом, то как-нибудь можно будет проехать.

Конечно, садиться на велосипед в одиночестве оказалось не так-то легко: не хватало моральной поддержки, не хватало сочувственных замечаний инструктора: «Хорошо, вот теперь правильно. Валяйте смелей, вперед!» Впрочем, поддержка у меня все-таки нашлась. Это был мальчик, который сидел на заборе и грыз большой кусок кленового сахара.

Он живо интересовался мной и все время подавал мне советы. Когда я свалился в первый раз, он сказал, что на моем месте непременно подложил бы себе подушки спереди и сзади – вот что! Во второй раз он посоветовал мне поучиться сначала на трехколесном велосипеде.

В третий раз он сказал, что мне, пожалуй, не усидеть и на подводе. В четвертый раз я кое-как удержался на седле и поехал по мостовой, неуклюже виляя, пошатываясь из стороны в сторону и занимая почти всю улицу. Глядя на мои неуверенные и медленные движения, мальчишка преисполнился презрения и завопил:

– Батюшки! Вот так летит во весь опор!

Потом он слез с забора и побрел по тротуару, не сводя с меня глаз и порой отпуская неодобрительные замечания. Скоро он соскочил с тротуара и пошел следом за мной. Мимо проходила девочка, держа на голове стиральную доску; она засмеялась и хотела что-то сказать, но мальчик заметил наставительно:

– Оставь его в покое, он едет на похороны.

Я с давних пор знаю эту улицу, и мне всегда казалось, что она ровная, как скатерть: но, к удивлению моему, оказалось, что это неверно. Велосипед в руках новичка невероятно чувствителен: он показывает самые тонкие и незаметные изменения уровня, он отмечает подъем там, где неопытный глаз не заметил бы никакого подъема; он отмечает уклон везде, где стекает вода. Подъем был едва заметен; и я старался изо всех сил, пыхтел, обливался потом, – и все же, сколько я ни трудился, машина останавливалась чуть ли не каждую минуту. Тогда мальчишка кричал:

– Так, так! Отдохни, торопиться некуда. Все равно без тебя похороны не начнутся.

Камни ужасно мне мешали. Даже самые маленькие нагоняли на меня страх. Я наезжал на любой камень, как только делал попытку его объехать, а не объезжать его я не мог. Это вполне естественно. Во всех нас заложено нечто ослиное, неизвестно по какой причине.

В конце концов я доехал до угла, и нужно было поворачивать обратно. Тут нет ничего приятного, когда приходится делать поворот в первый раз самому, да и шансов на успех почти никаких. Уверенность в своих силах быстро убывает, появляются всякие страхи, каждый мускул камнеет от напряжения, и начинаешь осторожно описывать кривую. Но нервы шалят и полны электрических искр, и кривая живехонько превращается в дергающиеся зигзаги, опасные для жизни. Вдруг стальной конь закусывает удила и, взбесившись, лезет на тротуар, несмотря на все мольбы седока и все его старания свернуть на мостовую. Сердце у тебя замирает, дыхание прерывается, ноги цепенеют, а велосипед все ближе и ближе к тротуару. Наступает решительный момент, последняя возможность спастись. Конечно, тут все инструкции разом вылетают из головы, и ты поворачиваешь колесо от тротуара, когда нужно повернуть к тротуару, и растягиваешься во весь рост на этом негостеприимном, закованном в гранит берегу. Такое уж мое счастье: все это я испытал на себе. Я вылез из-под неуязвимой машины и уселся на тротуар считать синяки.

Потом я пустился в обратный путь. И вдруг я заметил воз с капустой, тащившийся мне навстречу. Если чего-нибудь не хватало, чтоб довести опасность до предела, так именно этого. Фермер с возом занимал середину улицы, и с каждой стороны воза оставалось каких-нибудь четырнадцать – пятнадцать ярдов свободного места. Окликнуть его я не мог – начинающему нельзя кричать: как только он откроет рот, он погиб; все его внимание должно принадле-



жать велосипеду. Но в эту страшную минуту мальчишка пришел ко мне на выручку, и на сей раз я был ему премного обязан. Он зорко следил за порывистыми и вдохновенными движениями моей машины и соответственно извещал фермера:

– Налево! Сворачивай налево, а не то этот осел тебя переедет.

Фермер начал сворачивать.

– Нет, нет, направо! Стой! Не туда! Налево! Направо! Налево, право, лево, пра... Стой, где стоишь, не то тебе крышка!

Тут я как раз заехал подветренной лошади в корму и свалился вместе с машиной. Я сказал:

– Черт полосатый! Что ж ты, не видел, что ли, что я еду?

– Видеть-то я видел, только почему же я знал, в какую сторону вы едете? Кто же это мог знать, скажите, пожалуйста? Сами-то вы разве знали, куда едете? Что же я мог поделывать?

Это было отчасти верно, и я великодушно с ним согласился. Я сказал, что, конечно, виноват не он один, но и я тоже.

Через пять дней я так насобачился, что мальчишка не мог за мной угнаться. Ему пришлось опять залезать на забор и издали смотреть, как я падаю.

В одном конце улицы было несколько невысоких каменных ступенек на расстоянии ярда одна от другой. Даже после того, как я научился прилично править, я так боялся этих ступенек, что всегда наезжал на них. От них я, пожалуй, пострадал больше всего, если не говорить о собаках. Я слышал, что даже первоклассному спортсмену не удастся переехать собаку: она всегда увернется с дороги. Пожалуй, это и верно; только мне кажется, он именно потому не может переехать собаку, что очень старается. Я вовсе не старался переехать собаку. Однако все собаки, которые

мне встречались, попадали под мой велосипед. Тут, конечно, разница немалая. Если ты стараешься переехать собаку, она сумеет увернуться, но если ты хочешь ее объехать, то она не сумеет верно рассчитать и отскочит не в ту сторону, в какую следует. Так всегда и случалось со мной. Я наезжал на всех собак, которые приходили смотреть, как я катаюсь. Им нравилось на меня глядеть, потому что у нас по соседству редко случалось что-нибудь интересное для собак. Немало времени я потратил, учась объезжать собак стороной, однако выучился даже и этому.

Теперь я еду, куда хочу, и как-нибудь поймаю этого мальчишку и перееду его, если он не исправится.

Купите себе велосипед. Не пожалеете, если останетесь живы.

АНТОН ЧЕХОВ
(1860-1904)



ХАМЕЛЕОН

Чез базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городской с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

– Так ты кусаться, окаянная? – слышит вдруг Очумелов. – Ребята, не пушай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубаше и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пушай!»

Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

– Никак беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городской.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сорищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамени победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

– По какому это случаю тут? – спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. – Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

– Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... – начинает Хрюкин, кашляя в кулак, – Насчет дров с Митрий Митричем, – и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пушай мне заплатят, потому – я этим пальцем, может, неделю не пошевелину... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

– Гм!.. Хорошо... – говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. – Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий

скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, – обращается надзиратель к городовому, – узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Не медля! Она наверно бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

– Это, кажись, генерала Жигалова! – говорит кто-то из толпы.

– Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается Очумелов к Хрюкину. – Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

– Он, ваше благородие, сигаркой ей в харю для смеха, а она – не будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

– Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом... А ежели я вру, так пушай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите знать...

– Не рассуждать!

– Нет, это не генеральская... – глубокомысленно замечает городской. – У генерала таких нет. У него всё больше легавые...

– Ты это верно знаешь?

– Верно, ваше благородие...

– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держат?! Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально – не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...



– А может быть, и генеральская... – думает вслух городской. – На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

– Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.

– Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака – нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

– Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

– Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

– И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. – Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и все.

– Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова брата, что намеднишь приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

– Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. – Ишь ты, Господи! А я и не знал! Погостить приехали?

– В гости...

– Ишь ты, Господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

– Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

О'ГЕНРИ
(1862-1910)



ДЖИММИ ХЕЙЗ И МЬЮРИЭЛ

I

Ужин кончился, и в лагере наступила тишина, сопровождающая обычно свертывание папирос из кожуры кукурузных початков. Маленький пруд светился на темной земле, как клочок упавшего неба. Тявкали койоты. Глухие удары копыт выдавали присутствие стреноженных коней, продвигавшихся к свежей траве скачками, как деревянные лошадки-качалки. Полуэскадрон тexasского пограничного батальона расположился вокруг костра.

Знакомый звук – шорох и трение чапаррала о деревянные стремена – послышался из густых зарослей повыше лагеря. Пограничники насторожились. Они услышали, как громкий, веселый голос успокоительно говорил:

– Подбодрись, Мьюриэл, старушка! Вот мы и приехали. А долгая получилась поездка, верно? Эх ты, допотопное существо! Да ну, будет тебе целоваться, право! И не цепляйся так крепко за мою шею. Надо тебе сказать, этот коняга под нами не очень тверд на ноги. Он еще, чего доброго, сбросит нас с тобой, если мы будем зевать.

После двух минут ожидания на лагерную площадку вылетела усталая серая в яблоках лошадь. Долговязый парень лет двадцати раскачивался в седле. Никакой Мьюриэл, к которой он обращался, не было видно.

– Эй, друзья, – весело закричал всадник, – вот тут письмо лейтенанту Мэннингу!

Он спешил, расседлал коня, опустил на землю свернутое в кольцо лассо и снял с луки седла путы. Пока лейтенант Мэннинг, командир полуэскадрона, читал письмо, он заботливо соскреб засохшую на путах грязь, показав тем самым, что бережет передние ноги своего коня.

– Ребята, – сказал лейтенант и помахал пограничникам рукой, – это мистер Джимми Хейз. Он зачислен в нашу часть. Капитан Мак-Лин прислал его к нам из Эль-Пасо. Хейз, когда стреножите коня, ребята вас накормят.

Пограничники приняли новичка радушно. Тем не менее они подвергли его внимательному осмотру и воздержались до поры до времени от окончательного приговора. Пограничники выбирают нового товарища в десять раз осмотрительнее, чем девушка возлюбленного. От выдержки, преданности, хладнокровия и меткой стрельбы вашего соседа в бою часто зависит ваша жизнь.

После плотного ужина Хейз присоединился к курящим у костра. Его внешность не рассеяла всех сомнений у его братьев по оружию. Они видели всего лишь длинного, сухопарого юношу с выжженными солнцем волосами цвета пакли и загорелым простодушным лицом, на котором играла добрая, лукавая улыбка.

– Друзья, – сказал новый пограничник, – я сейчас представлю вас одной моей знакомой леди. Я никогда не слышал, чтобы ее называли красавицей, но вы согласитесь, что она все-таки ничего себе. Поди-ка сюда, Мьюриэл!

Он расстегнул свою синюю фланелевую рубашу. Из-за пазухи у него выползла рогатая лягушка. Ярко-красная ленточка была кокетливо повязана вокруг ее колючей

шеи. Она сползла на колено к хозяину и уселась там неподвижно.

– Вот у этой самой Мьюриэл, – сказал Хейз с ораторским жестом, – имеется куча достоинств. Она никогда не спорит, она всегда сидит дома, и она довольствуется одним красным платьем и в будни и в воскресенье.

– Вы только посмотрите на эту погань! – сказал, смеясь, один из пограничников/ – Видал я рогатых лягушек, но никогда не видел, чтобы кто-нибудь взял себе такую дрянь в товарищи. Она что, знает вас?

– Возьмите ее и увидите, – сказал Хейз.

Небольшая короткохвостая ящерица, известная под названием рогатой лягушки, совершенно безвредна. Она уродлива, как те доисторические чудовища, уменьшенным потомком которых она является, но кротка, как голубь.

Пограничник взял Мьюриэл с коленей Хейза и вернулся на свое сиденье из свернутых одеял. Пленница вертелась, царапалась и энергично вырывалась из его руки. Подержав лягушку с минуту, пограничник опустил ее на землю. Неуклюже, но быстро она заработала своими уморительными лапками и остановилась у ноги Хейза.

– Здорово, разрази меня гром! – сказал другой пограничник. – Никогда не думал, что у этих насекомых столько соображения.

II

Джимми Хейз стал общим любимцем в лагере пограничников. Он обладал бесконечным запасом добродушия и неиссякаемым мягким юмором, который очень ценится в походной жизни. Он был неразлучен со своей рогатой лягушкой. За пазухой во время езды, на плече или на колене в лагере, под одеялом ночью – маленький уродец никогда не покидал его. Джимми был шутником того типа, который преобладает в сельских местностях Запада и Юга. Не

умея ни изобрести что-нибудь новое по части развлечения, ни сострить экспромтом, он набрел как-то раз на забавную мысль и крепко ухватился за нее. Ему показалось очень смешным иметь при себе для развлечения друзей ручную рогатую лягушку с красной ленточкой на шее. Это была счастливая мысль – почему же не развивать ее до бесконечности?

Отношения, связывавшие Джимми с его лягушкой, трудно поддаются определению. Способна ли рогатая лягушка на прочную привязанность – это вопрос, для разрешения которого мы не располагаем данными. Легче угадать чувства Джимми. Мьюриэл была перлом его остроумия и в качестве такового была им нежно любима. Он ловил для нее мух и защищал ее от холодного ветра. Заботы его были наполовину эгоистичны, и все же, когда пришло время, она отплатила ему сторицей. Немало других Мьюриэл так же щедро вознаграждали других Джимми за их поверхностное увлечение.

Джимми не сразу добился полного признания со стороны своих товарищей. Они любили его за простоту и чудачества, но над ним все еще висел тяжелый меч отсроченного приговора. Жизнь пограничников состоит не только в том, чтобы дурачиться в лагере. Приходится еще выслеживать конокрадов, ловить опасных преступников, драться со всякими головорезами, выбивать из чапарраля шайки бандитов, насаждать закон и порядок с помощью шестизарядного револьвера. Джимми, по собственному его признанию, был преимущественно ковбоем и не имел опыта в пограничной войне. Поэтому пограничники в его отсутствие усиленно гадали, как он будет вести себя под огнем. Ибо, да будет всем известно, честь и гордость каждого пограничника отряда зависят от личной отваги составляющих его солдат.

Два месяца на границе было спокойно. Солдаты бездельничали в лагере. А затем, к великой радости изны-

вавших от скуки защитников границы, Себастьяно Салдар, знаменитый мексиканский головорез и угонщик скота, перешел со своей шайкой Рио-Гранде и стал производить опустошения на тexasском берегу. Теперь были основания предполагать, что скоро Джимми Хейзу представится случай показать, чего он стоит. Отряд гонялся за бандитами неустанно, но у Салдара и его людей кони были, как у Лохинвара¹², и настигнуть их было нелегко.

Однажды вечером, перед закатом, пограничники после долгого перехода остановились на отдых. Усталые лошади стояли тут же, нерасседланные. Люди жарили сало и варили кофе. Вдруг из чащи зарослей на них выскочил Себастьяно Салдар со своей шайкой, стреляя из шестизарядных револьверов и оглашая воздух отчаянными воплями. Это было полной неожиданностью. Пограничники, раздраженно ругаясь, схватились за винчестеры; но атака оказалась лишь показным выступлением в чисто мексиканском духе. После этой шумной демонстрации налетчики с оглушительным криком ускакали прочь вдоль реки. Пограничники вскочили на коней и пустились в погоню; но уже мили через две их лошади выдохлись, и лейтенант Мэннинг отдал приказ прекратить погоню и вернуться в лагерь.

Тут обнаружилось, что Джимми Хейз исчез. Кто-то вспомнил, что, когда началась тревога, он побежал к своей лошади, но после этого никто его не видел. Наступило утро, а Джимми все не было. Думая, что он лежит где-нибудь убитый или раненный, пограничники обыскали все окрестности, но безуспешно. Тогда они пошли по следам банды Салдара, но она как в воду канула. Мэннинг решил, что коварный мексиканец после своего театрального прощания снова ушел за реку. И действительно, ни о каких дальнейших набегах сведений не поступало.

¹² Лохинвар – герой баллады В. Скотта. Имел очень быстрого коня.



Это дало пограничникам время разобраться в своих неприятностях. Как уже было сказано, честь и гордость каждого пограничника отряда зависит от личной отваги составляющих его солдат. И теперь они были уверены, что свист мексиканских пуль обратил Джимми Хейза в позорное бегство. Бак Дэвис хорошо помнил, что мексиканцы не дали ни одного выстрела, после того как Джимми побежал к своей лошади. Таким образом, он не мог быть убит. Нет, он бежал от своего первого боя и не захотел вернуться, зная, что презрение товарищей труднее вынести, чем вид направленных на тебя винтовок.

И в отряде Мэннинга из пограничного батальона Мак-Лина было невесело. Это было первое пятно на их знамени. Ни разу еще за всю историю пограничной службы ни один солдат не показал себя трусом. Все они любили Джимми Хейза, и это еще больше портило дело.

Проходили дни, недели и месяцы, а облачко неизжитого позора все еще висело над лагерем.

III

Год спустя, оставив позади много стоянок и изъездив с оружием в руках много сотен миль, лейтенант Мэннинг почти с тем же составом людей был послан на борьбу с контрабандистами на несколько миль ниже по реке от их старого лагеря. Однажды, пересекая густо заросшую мескитом равнину, они выехали на луг, изрезанный овражками. Тут глазам их представилась немая картина давнишней трагедии.

В одном из овражков лежали скелеты трех мексиканцев. Их можно было узнать только по платью. Самый большой скелет был когда-то Себастьяно Салдаром. Его громадное дорогое сомбреро с золотыми украшениями — шляпа, известная по всему Рио-Гранде, — лежало тут же, пробитое тремя пулями. На краю овражка покоились за-

ржавевшие винчестеры мексиканцев – все они были направлены дулами в одну сторону.

Пограничники проехали в ту сторону пятьдесят ярдов. Там, в небольшой впадине, все еще целясь из винтовки в тех троих, лежал еще один скелет. Это был бой на взаимное уничтожение. Ни по каким признакам нельзя было опознать одинокого защитника. Его одежда, над которой немало потрудились дожди и солнце, могла быть одеждой любого ранчмена или ковбоя.

– Какой-нибудь ковбой, – сказал Мэннинг. – Они настигли его одного. Молодец парень! Задал он им горячих, прежде чем они уколошили его! Так вот почему мы больше ничего не слышали о доне Себастьяно!

И вдруг из-под истрепанных непогодой лохмотьев мертвеца вылезла рогатая лягушка с полинявшей красной ленточкой вокруг шеи и уселась на плече своего давно успокоившегося хозяина. Безмолвно рассказала она повесть о неопытном юноше и быстроногом сером в яблоках коне – как они в погоне за мексиканскими налетчиками обогнали всех своих товарищей и как мальчик погиб, подерживая честь своего отряда.

Пограничники теснее столпились у трупа, и, словно по данному знаку, дикий вопль вырвался из их уст. Этот вопль был и панихидой, и надгробной речью, и эпитафией, и торжествующей песнью. Станный реквием над прахом павшего товарища, скажете вы, но, если бы Джимми Хейз мог его услышать, он бы все понял.



АЛЕКСАНДР КУПРИН
(1870-1938)



ИЗУМРУД

*Посвящаю памяти несравненного
негего рысака Холстомера*

I

Четырехлетний жеребец Изумруд – рослая беговая лошадь американского склада, серой, ровной, серебристо-стальной масти – проснулся, по обыкновению, около полуночи в своем деннике. Рядом с ним, слева и справа и напротив через коридор, лошади мерно и часто, все точно в один такт, жевали сено, вкусно хрустя зубами и изредка отфыркиваясь от пыли. В углу на ворохе соломы храпел дежурный конюх. Изумруд по чередованию дней и по особым звукам храпа знал, что это – Василий, молодой малый, которого лошади не любили за то, что он курил в конюшне вонючий табак, часто заходил в денники пьяный, толкал коленом в живот, замахивался кулаком над глазами, грубо дергал за недоуздок и всегда кричал на лошадей ненатуральным, сиплым, угрожающим басом.

Изумруд подошел к дверной решетке. Напротив него, дверь в дверь, стояла в своем деннике молодая вороная,

еще не сложившаяся кобылка Щеголиха. Изумруд не видел в темноте ее тела, но каждый раз, когда она, отрываясь от сена, поворачивала назад голову, ее большой глаз светился на несколько секунд красивым фиолетовым огоньком. Расширив нежные ноздри, Изумруд долго потянул в себя воздух, услышал чуть заметный, но крепкий, волнующий запах ее кожи и коротко заржал. Быстро обернувшись назад, кобыла ответила тоненьким, дрожащим, ласковым и игривым ржанием.

Тотчас же рядом с собою направо Изумруд услышал ревнивое, сердитое дыхание. Тут помещался Онегин, старый, норовистый бурый жеребец, изредка еще бегавший на призы в городских одиночках. Обе лошади были разделены легкой дощатой переборкой и не могли видеть друг друга, но, приложившись храпом к правому краю решетки, Изумруд ясно учуял теплый запах пережеванного сена, шедший из часто дышащих ноздрей Онегина... Так жеребцы некоторое время обнюхивали друг друга в темноте, плотно приложив уши к голове, выгнув шеи и все больше и больше сердясь. И вдруг оба разом злобно взвизгнули, закричали и забили копытами.

– Бал-луй, черт! – сонно, с привычной угрозой, крикнул конюх.

Лошади отпрянули от решетки и насторожились. Они давно уже не терпели друг друга, но теперь, как три дня тому назад в ту же конюшню поставили грациозную вороную кобылу, – чего обыкновенно не делается и что произошло лишь от недостатка мест при беговой спешке, – то у них не проходило дня без нескольких крупных ссор. И здесь, и на кругу, и на водопое они вызывали друг друга на драку. Но Изумруд чувствовал в душе некоторую боязнь перед этим длинным самоуверенным жеребцом, перед его острым запахом злой лошади, крутым верблюжьим кадыком, мрачными запавшими глазами и особенно перед его крепким, точно каменным, костяком, закаленным годами, усиленным бегом и прежними драками.

Делая вид перед самим собою, что он вовсе не боится и что сейчас ничего не произошло, Изумруд повернулся, опустил голову в ясли и принялся ворошить сено мягкими, подвижными, упругими губами. Сначала он только прикусывал капризно отдельные травки, но скоро вкус жвачки во рту увлек его, и он по-настоящему вник в корм. И в то же время в его голове текли медленные равнодушные мысли, сцепляясь воспоминаниями образов, запахов и звуков и пропадая навеки в той черной бездне, которая была впереди и позади теперешнего мига.

«Сено», – думал он и вспомнил старшего конюха Назара, который с вечера задавал сено.

Назар – хороший старик; от него всегда так уютно пахнет черным хлебом и чуть-чуть вином; движения у него неторопливые и мягкие, овес и сено в его дни кажутся вкуснее, и приятно слушать, когда он, убирая лошадь, разговаривает с ней вполголоса с ласковой укоризной и все крихтит. Но нет в нем чего-то главного, лошадиного, и во время прикидки чувствуется через вожжи, что его руки неуверенны и неточны.

В Ваське тоже этого нет, и хотя он кричит и дерется, но все лошади знают, что он трус, и не боятся его. И ездить он не умеет – дергает, суетится. Третий конюх, что с кривым глазом, лучше их обоих, но он не любит лошадей, жесток и нетерпелив, и руки у него не гибки, точно деревянные. А четвертый – Андрияшка, еще совсем мальчик; он играет с лошадьми, как жеребенок-сосунок, и украдкой целует в верхнюю губу и между ноздрями, – это не особенно приятно и смешно.

Вот тот, высокий, худой, сгорбленный, у которого бритое лицо и золотые очки, – о, это совсем другое дело. Он весь точно какая-то необыкновенная лошадь – мудрая, сильная и бесстрашная. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем когда он сидит в американке, то как радостно, гордо и приятно-

страшно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить Изумруда до того счастливого гармонического состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело и так легко.

И тотчас же Изумруд увидел воображением короткую дорогу на ипподром и почти каждый дом и каждую тумбу на ней, увидел песок ипподрома, трибуну, бегущих лошадей, зелень травы и желтизну ленточки. Вспомнился вдруг карачовый трехлеток, который на днях вывихнул ногу на проминке и захромал. И, думая о нем, Изумруд сам попробовал мысленно похромать немножко.

Один клочок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно нежным вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время еще слышал у себя во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки. Смутное, совершенно неопределенное, далекое воспоминание скользнуло в уме лошади. Это было похоже на то, что бывает иногда у курящих людей, которым случайная затяжка папиросой на улице вдруг воскресит на неудержимое мгновение полутемный коридор с старинными обоями и одинокую свечу на буфете, или дальнюю ночную дорогу, мерный звон бубенчиков и томную дремоту, или синий лес невдалеке, снег, слепящий глаза, шум идущей облавы, страстное нетерпение, заставляющее дрожать колени, – и вот на миг пробегут по душе, ласково, печально и неясно тронув ее, тогдашние, забытые, волнующие и теперь неуловимые чувства.

Между тем черное оконце над яслями, до сих пор невидимое, стало сереть и слабо выделяться в темноте. Лошади жевали ленивее и одна за другою вздыхали тяжело и мягко. На дворе закричал петух знакомым криком, звонким, бодрым и резким, как труба. И еще долго и далеко кругом разливалось в разных местах, не прекращаясь, очередное пение других петухов.

Опустив голову в кормушку, Изумруд все старался удержать во рту и вновь вызвать и усилить странный вкус, будивший в нем этот тонкий, почти физический отзвук непонятого воспоминания. Но оживить его не удавалось, и, незаметно для себя, Изумруд задремал.

II

Ноги и тело у него были безупречные, совершенных форм, поэтому он всегда спал стоя, чуть покачиваясь вперед и назад. Иногда он вздрагивал, и тогда крепкий сон сменялся у него на несколько секунд легкой чуткой дремотой, но недолгие минуты сна были так глубоки, что в течение их отдыхали и освежались все мускулы, нервы и кожа.

Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над землей и низкий ароматный луг. Трава была так густа и сочна, так ярко, сказочно-преlestно зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве, и всюду на ней сверкала дрожащими огнями роса. В легком редком воздухе всевозможные запахи доносятся удивительно четко. Слышен сквозь прохладу утра запах дымка, который сине и прозрачно вьется над трубой в деревне, все цветы на лугу пахнут по-разному, на колеистой влажной дороге за изгородью смешалось множество запахов: пахнет и людьми, и дегтем, и лошадиным навозом, и пылью, и парным коровьим молоком от проходящего стада, и душистой смолой от еловых жердей забора.

Изумруд, семимесячный стригунок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбрыкивая задними ногами. Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. Белые пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится прямо на солнце. Мокрая трава хлещет по бабкам, по коленкам и холодит и темнит

их. Голубое небо, зеленая трава, золотое солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега!



Но вот он слышит короткое, беспокойное, ласковое и призывающее ржание, которое так ему знакомо, что он всегда узнает его издали, среди тысячи других голосов. Он останавливается на всем скаку, прислушивается одну секунду, высоко подняв голову, двигая тонкими ушами и оставив метелкой пушистый короткий хвост, потом отвечает длинным залихватным криком, от которого сотрясается все его стройное, худощавое, длинноногое тело, и мчится к матери.

Она – костлявая, старая, спокойная кобыла – поднимает мокрую морду из травы, быстро и внимательно обнюхивает жеребенка и тотчас же опять принимается есть, точно торопится делать неотложное дело. Склонив гибкую шею под ее живот и изогнув кверху морду, жеребенок

привычно тычет губами между задних ног, находит теплый упругий сосок, весь переполненный сладким, чуть кисловатым молоком, которое брызжет ему в рот тонкими горячими струйками, и все пьет и не может оторваться. Матка сама убирает от него зад и делает вид, что хочет укусить жеребенка за пах.

В конюшне стало совсем светло. Бородатый, старый, вонючий козел, живший между лошадей, подошел к дверям, заложеным изнутри брусом, и заблеял, озираясь назад, на конюха. Васька, босой, чеша лохматую голову, пошел отворять ему. Стояло холодноватое, синее, крепкое осеннее утро. Правильный четырехугольник отворенной двери тотчас же застлался теплым паром, повалившим из конюшни. Аромат инея и опавшей листвы тонко потянул по стойлам.

Лошади хорошо знали, что сейчас будут засыпать овес, и от нетерпения негромко побряхтывали у решеток. Жадный и капризный Онегин бил копытом о деревянную настилку и, закусывая, по дурной привычке, верхними зубами за окованный железом изжеванный борт кормушки, тянулся шеей, глотал воздух и рыгал. Изумруд чесал морду о решетку.

Пришли остальные конюхи – их всех было четверо – и стали в железных мерках разносить по денникам овес. Пока Назар сыпал тяжелый шелестящий овес в ясли Изумруда, жеребец суетливо совался к корму, то через плечо старика, то из-под его рук, трепеща теплыми ноздрями. Конюх, которому нравилось это нетерпение кроткой лошади, нарочно не торопился, загораживал ясли локтями и ворчал с добродушной грубостью:

– Ишь ты, зверь жадная... Но-о, успеешь... А, чтоб тебя... Потычь мне еще мордой-то. Вот я тебя ужотко потычу.

Из оконца над яслями тянулся косо вниз четырехугольный веселый солнечный столб, и в нем клубились

миллионы золотых пылинок, разделенных длинными тенями от оконного переплета.

III

Изумруд только что доел овес, когда за ним пришли, чтобы вывести его на двор. Стало теплее, и земля слегка размякла, но стены конюшни были еще белы от инея. От навозных куч, только что выгребенных из конюшни, шел густой пар, и воробьи, копошившиеся в навозе, возбужденно кричали, точно ссорясь между собой. Нагнув шею в дверях и осторожно переступив через порог, Изумруд с радостью долго потянул в себя пряный воздух, потом затрясся шеей и всем телом и звучно зафыркал. «Будь здоров!» – серьезно сказал Назар. Изумруду не стоялось. Хотелось сильных движений, щекочущего ощущения воздуха, быстро бегущего в глаза и ноздри, горячих толчков сердца, глубокого дыхания. Привязанный к коновязи, он ржал, плясал задними ногами и, изгибая набок шею, косил назад, на вороную кобылу, черным большим выкатившимся глазом с красными жилками на белке.

Задыхаясь от усилия, Назар поднял вверх выше головы ведро с водой и вылил ее на спину жеребца от холки до хвоста. Это было знакомое Изумруду бодрое, приятное и жуткое своей всегдашней неожиданностью ощущение. Назар принес еще воды и оплескал ему бока, грудь, ноги и под репицей. И каждый раз он плотно проводил мозолистой ладонью вдоль его шерсти, отжимая воду. Оглядываясь назад, Изумруд видел свой высокий, немного вислозадый круп, вдруг потемневший и заблестевший глянцем на солнце.

Был день бегов. Изумруд знал это по особенной нервной спешке, с которой конюхи хлопотали около лошадей; некоторым, которые по короткости туловища имели обыкновение засекаяться подковами, надевали кожаные но-

гавки на бабки, другим забинтовывали ноги полотняными поясами от путового сустава до колена или подвязывали под грудь за передними ногами широкие подмышники, отороченные мехом. Из сарая выкатывали легкие двухколесные с высокими сиденьями американки; их металлические спицы весело сверкали на ходу, а красные ободья и красные широкие выгнутые оглобли блестели новым лаком.

Изумруд был уже окончательно высушен, вычищен щетками и вытерт шерстяной рукавицей, когда пришел главный наездник конюшни, англичанин. Этого высокого, худого, немного сутуловатого, длиннорукого человека одинаково уважали и боялись и лошади и люди. У него было бритое загорелое лицо и твердые, тонкие изогнутые губы насмешливого рисунка. Он носил золотые очки; сквозь них его голубые, светлые глаза глядели твердо и упорно-спокойно. Он следил за уборкой, расставив длинные ноги в высоких сапогах, заложив руки глубоко в карманы панталон и пожевывая сигару то одним, то другим углом рта. На нем была серая куртка с меховым воротником, черный картуз с узкими полями и прямым длинным четырехугольным козырьком. Иногда он делал короткие замечания отрывистым, небрежным тоном, и тотчас же все конюхи и рабочие поворачивали к нему головы и лошади настораживали уши в его сторону.

Он особенно следил за запряжкой Изумруда, оглядывая все тело лошади от челки до копыт, и Изумруд, чувствуя на себе этот точный, внимательный взгляд, гордо подымал голову, слегка полуоборачивал гибкую шею и ставил торчком тонкие, просвечивающие уши. Наездник сам испытал крепость подпруги, просовывая палец между ней и животом. Затем на лошадей надели серые полотняные попоны с красными каймами, красными кругами около глаз и красными вензелями внизу у задних ног. Два конюха, Назар и кривоглазый, взяли Изумруда с обеих сто-



рон под уздцы и повели на ипподром по хорошо знакомой мостовой, между двумя рядами редких больших каменных зданий. До бегового круга не было и четверти версты.

Во дворе ипподрома было уже много лошадей, их проваживали по кругу, всех в одном направлении – в том же, в котором они ходят по беговому кругу, то есть обратном движению часовой стрелки. Внутри двора водили поддужных лошадей, небольших, крепконогих, с подстриженными короткими хвостами. Изумруд тотчас же узнал белого жеребчика, всегда скакавшего с ним рядом, и обе лошади тихо и ласково поржали в знак приветствия.

IV

На ипподроме зазвонили. Конюхи сняли с Изумруда попону. Англичанин, щуря под очками глаза от солнца и оскаливая длинные желтые лошадиные зубы, подошел, застегивая на ходу перчатки, с хлыстом под мышкой. Один из конюхов подобрал Изумруду пышный, до самых бабок хвост и бережно уложил его на сиденье американки, так что его светлый конец свесился назад. Гибкие оглобли упруго качнулись от тяжести тела. Изумруд покосился назад и увидел наездника, сидящего почти вплотную за его крупом, с ногами, вытянутыми вперед и растопыренными по оглоблям. Наездник, не торопясь, взял вожжи, односложно крикнул конюхам, и они разом отняли руки. Радуюсь предстоящему бегу, Изумруд рванулся было вперед, но, сдержанный сильными руками, поднялся лишь немного на задних ногах, встряхнул шеей и широкой, редкой рысью выбежал из ворот на ипподром.

Вдоль деревянного забора, образуя верстовой эллипс, шла широкая беговая дорожка из желтого песка, который был немного влажен и плотен и потому приятно пружинился под ногами, возвращая им их давление. Острые следы копыт и ровные, прямые полосы, оставляемые гуттаперчей шин, бороздили ленточку.

Мимо протянулась трибуна, высокое деревянное здание в двести лошадиных корпусов длиною, где горой от земли до самой крыши, поддержанной тонкими столбами, двигалась и гудела черная человеческая толпа.

По легкому, чуть слышному шевелению вожжей Изумруд понял, что ему можно прибавить ходу, и благодарно фыркнул.

Он шел ровной машистой рысью, почти не колеблясь спиной, с вытянутой вперед и слегка привороченной к левой оглобле шеей, с прямо поднятой мордой. Благодаря редкому, хотя необыкновенно длинному шагу его бег издали не производил впечатления быстроты; казалось, что рысак меряет, не торопясь, дорогу прямыми, как циркуль, передними ногами, чуть притрогиваясь концами копыт к земле. Это была настоящая американская выездка, в которой все сводится к тому, чтобы облегчить лошади дыхание и уменьшить сопротивление воздуха до последней степени, где устранены все ненужные для бега движения, непроизводительно расходующие силу, и где внешняя красота форм приносится в жертву легкости, сухости, долгому дыханию и энергии бега, превращая лошадь в живую безукоризненную машину.

Теперь, в антракте между двумя бегами, шла проминка лошадей, которая всегда делается для того, чтобы открыть рысакам дыхание. Их много бежало во внешнем кругу по одному направлению с Изумрудом, а во внутреннем — навстречу. Серый, в темных яблоках, рослый беломордый рысак, чистой орловской породы, с крутой собранной шеей и с хвостом трубой, похожий на ярмарочного коня, перегнал Изумруда. Он трясся на ходу жирной, широкой, уже потемневшей от пота грудью и сырыми пахами, откидывал передние ноги от колен вбок, и при каждом шаге у него звучно ёкала селезенка.

Потом подошла сзади стройная, длиннотелая гнедая кобыла-метиска с жидкой темной гривой. Она была пре-

красно выработана по той же американской системе, как и Изумруд. Короткая холеная шерсть так и блестела на ней, переливаясь от движения мускулов под кожей. Пока наездники о чем-то говорили, обе лошади шли некоторое время рядом. Изумруд обнюхал кобылу и хотел было заиграть на ходу, но англичанин не позволил, и он подчинился.

Навстречу им пронесся полной рысью огромный вороной жеребец, весь обмотанный бинтами, наколенниками и подмышниками. Левая оглобля выступала у него прямо вперед на пол-аршина длиннее правой, а через кольцо, укрепленное над головой, проходил ремень стального обер-чека, жестоко охватившего сверху и с обеих сторон нервный храп лошади. Изумруд и кобыла одновременно поглядели на него, и оба мгновенно оценили в нем рысака необыкновенной силы, быстроты и выносливости, но страшно упрямого, злого, самолюбивого и обидчивого. Следом за вороным пробежал до смешного маленький, светло-серый нарядный жеребчик. Со стороны можно было подумать, что он мчится с невероятной скоростью: так часто топтал он ногами, так высоко вскидывал их в коленях и такое усердное, деловитое выражение было в его подобранной шее с красивой маленькой головой. Изумруд только презрительно скосил на него свой глаз и повел одним ухом в его сторону.

Другой наездник окончил разговор, громко и коротко засмеялся, точно проржал, и пустил кобылу свободной рысью. Она без всякого усилия, спокойно, точно быстрота ее бега совсем от нее не зависела, отделилась от Изумруда и побежала вперед, плавно неся ровную, блестящую спину с едва заметным темным ремешком вдоль хребта.

Но тотчас же и Изумруда и ее обогнал и быстро кинул назад несшийся галопом огненно-рыжий рысак с большим белым пятном на храпе. Он скакал частыми длинными прыжками, то растягиваясь и пригибаясь к земле, то почти

соединяя на воздухе передние ноги с задними. Его наездник, откинувшись назад всем телом, не сидел, а лежал на сиденье, повиснув на натянутых вожжах. Изумруд заволновался и горячо метнулся в сторону, но англичанин незаметно сдержал вожжи, и его руки, такие гибкие и чуткие к каждому движению лошади, вдруг стали точно железными. Около трибуны рыжий жеребец, успевший проскакать еще один круг, опять обогнал Изумруда. Он до сих пор скакал, но теперь уже был в пене, с кровавыми глазами и дышал хрипло. Наездник, перегнувшись вперед, стегал его изо всех сил хлыстом вдоль спины. Наконец конюхам удалось близ ворот пересечь ему дорогу и схватить за вожжи и за узду у морды. Его свели с ипподрома, мокрого, задыхающегося, дрожащего, похудевшего в одну минуту.

Изумруд сделал еще полкруга полной рысью, потом свернул на дорожку, пересекавшую поперек беговой плац, и через ворота въехал во двор.

V

На ипподроме несколько раз звонили. Мимо отворенных ворот изредка проносились молнией бегущие рысаки, люди на трибунах вдруг принимались кричать и хлопать в ладоши. Изумруд в линии других рысаков часто шагал рядом с Назаром, мотая опущенною головой и пошевеливая ушами в полотняных футлярах. От проминки кровь весело и горячо струилась в его жилах, дыхание становилось все глубже и свободнее, по мере того как отдыхало и охлаждалось его тело, – во всех мускулах чувствовалось – нетерпеливое желание бежать еще.

Прошло с полчаса. На ипподроме опять зазвонили. Теперь наездник сел на американку без перчаток. У него были белые, широкие, волшебные руки, внушавшие Изумруду привязанность и страх.

Англичанин неторопливо выехал на ипподром, откуда

одна за другой съезжали во двор лошади, окончившие проминку. На кругу остались только Изумруд и тот огромный вороной жеребец, который повстречался с ним на проезде. Трибуны сплошь от низу до верху чернели густой человеческой толпой, и в этой черной массе бесчисленно, весело и беспорядочно светлели лица и руки, пестрели зонтики и шляпки и воздушно колебались белые листики программ. Постепенно увеличивая ход и пробегая вдоль трибуны, Изумруд чувствовал, как тысяча глаз неотступно провожала его, и он ясно понимал, что эти глаза ждут от него быстрых движений, полного напряжения сил, могучего биения сердца, – и это понимание сообщало его мускулам счастливую легкость и кокетливую сжатость. Белый знакомый жеребец, на котором сидел верхом мальчик, скакал укороченным галопом рядом, справа.

Ровной, размеренной рысью, чуть-чуть наклоняясь телом влево, Изумруд описал крутой заворот и стал подходить к столбу с красным кругом. На ипподроме коротко ударили в колокол. Англичанин едва заметно поправился на сиденье, и руки его вдруг окрепли. «Теперь иди, но береги силы. Еще рано», – понял Изумруд и в знак того, что понял, обернул на секунду назад и опять поставил прямо свои тонкие, чуткие уши. Белый жеребец ровно скакал сбоку, немного позади. Изумруд слышал у себя около холки его свежее, равномерное дыхание.

Красный столб остался позади, еще один крутой поворот, дорожка выпрямляется, вторая трибуна, приближаясь, чернеет и пестреет издали гудящей толпой и быстро растет с каждым шагом. «Еще! – позволяет наездник, – еще, еще!» Изумруд немного горячится и хочет сразу напрячь все свои силы в беге. «Можно ли?» – думает он. «Нет, еще рано, не волнуйся, – отвечают, успокаивая, волшебные руки. – Потом».

Оба жеребца проходят призовые столбы секунда в се-

кунду, но с противоположных сторон диаметра, соединяющего обе трибуны. Легкое сопротивление туго натянутой нитки и быстрый разрыв ее на мгновение заставляют Изумруда запрясть ушами, но он тотчас же забывает об этом, весь поглощенный вниманием к чудесным рукам. «Еще немного! Не горячиться! Идти ровно!» – приказывает наездник. Черная колеблющаяся трибуна проплывает мимо. Еще несколько десятков сажен, и все четверо – Изумруд, белый жеребчик, англичанин и мальчик-поддужный, припавший, стоя на коротких стременах, к лошадиной гриве, – счастливо слаживаются в одно плотное, быстро несущееся тело, одухотворенное одной волей, одной красотой мощных движений, одним ритмом, звучащим, как музыка. Та-та-та-та! – ровно и мерно выбивает ногами Изумруд. Тра-та, тра-та! – коротко и резко двоит поддужный. Еще один поворот, и бежит навстречу вторая трибуна. «Я прибавлю?» – спрашивает Изумруд. «Да, – отвечают руки, – но спокойно».

Вторая трибуна проносится назад мимо глаз. Люди кричат что-то. Это развлекает Изумруда, он горячится, теряет ощущение вожжей и, на секунду выбившись из общего, наладившегося такта, делает четыре капризных скачка с правой ноги. Но вожжи тотчас же становятся жесткими и, раздирая ему рот, скручивают шею вниз и ворочают голову направо. Теперь уже неловко скакать с правой ноги. Изумруд сердится и не хочет переменить ногу, но наездник, поймав этот момент, повелительно и спокойно ставит лошадь на рысь. Трибуна осталась далеко позади, Изумруд опять входит в такт, и руки снова делаются дружелюбно-мягкими. Изумруд чувствует свою вину и хочет усилить вдвое рысь. «Нет, нет, еще рано, – добродушно замечает наездник, – Мы успеем это поправить. Ничего».

Так они проходят в отличном согласии без сбоев еще круг и половину. Но и вороной сегодня в великолепном порядке. В то время, когда Изумруд разладился, он успел

бросить его на шесть длин лошадиного тела, но теперь Изумруд набирает потерянное и у предпоследнего столба оказывается на три с четвертью секунды впереди. «Теперь можно. Иди!» – приказывает наездник. Изумруд прижимает уши и бросает всего один быстрый взгляд назад. Лицо англичанина все горит острым, решительным, прицеливающимся выражением, бритые губы сморщились нетерпеливой гримасой и обнажают желтые, большие, крепко стиснутые зубы. «Давай все, что можно! – приказывают вожжи в высоко поднятых руках. – Еще, еще!» И англичанин вдруг кричит громким вибрирующим голосом, повышающимся, как звук сирены:

– О-э-э-э-эй!

– Вот, вот, вот, вот!.. – пронзительно и звонко в такт бегу кричит мальчишка-поддужный.

Теперь чувство темпа достигает самой высшей напряженности и держится на каком-то тонком волоске, вот-вот готовом порваться. Та-та-та-та! – ровно отпечатывают по земле ноги Изумруда. Трра-трра-трра! – слышится впереди галоп белого жеребца, увлекающего за собой Изумруда. В такт бегу колеблются гибкие оглобли, и в такт галопу подымается и опускается на седле мальчик, почти лежащий на шее у лошади.

Воздух, бегущий навстречу, свистит в ушах и щекочет ноздри, из которых пар бьет частыми большими струями. Дышать труднее, и коже становится жарко. Изумруд обегает последний заворот, наклоняясь вовнутрь его всем телом. Трибуна вырастает, как живая, и от нее навстречу летит тысячеголосый рев, который пугает, волнует и радует Изумруда. У него не хватает больше рыси, и он уже хочет скакать, но эти удивительные руки позади и умоляют, и приказывают, и успокаивают: «Милый, не скачи!.. Только не скачи!.. Вот так, вот так, вот так». И Изумруд, проносясь стремительно мимо столба, разрывает контрольную нитку, даже не заметя этого. Крики, смех, аплодисменты



водопадом низвергаются с трибуны. Белые листки афиш, зонтики, палки, шляпы кружатся и мелькают между движущимися лицами и руками. Англичанин мягко бросает вожжи. «Кончено. Спасибо, милый!» – говорит Изумруду это движение, и он, с трудом сдерживая инерцию бега, переходит в шаг. В этот момент вороной жеребец только-только подходит к своему столбу на противоположной стороне, семью секундами позже.

Англичанин, с трудом подымая затекшие ноги, тяжело спрыгивает с американки и, сняв бархатное сиденье, идет с ним на весы. Подбежавшие конюхи покрывают горячую спину Изумруда попоной и уводят на двор. Вслед им несется гул человеческой толпы и длинный звонок из членской беседки. Легкая желтоватая пена падает с морды лошади на землю и на руки конюхов.

Через несколько минут Изумруда, уже распряженного, приводят опять к трибуне. Высокий человек в длинном пальто и новой блестящей шляпе, которого Изумруд часто видит у себя в конюшне, треплет его по шее и сует ему на ладони в рот кусок сахара. Англичанин стоит тут же, в толпе, и улыбается, морщась и скаля длинные зубы. С Изумруда снимают попоны и устанавливают его перед ящиком на трех ногах, покрытым черной материей, под которую прячется и что-то там делает господин в сером.

Но вот люди свергаются с трибун черной рассыпающейся массой. Они тесно обступают лошадь со всех сторон и кричат и машут руками, наклоня близко друг к другу красные, разгоряченные лица с блестящими глазами. Они чем-то недовольны, тычут пальцами в ноги, в голову и в бока Изумруду, взьерошивают шерсть на левой стороне крупа, там, где стоит тавро, и опять кричат все разом. «Поддельная лошадь, фальшивый рысак, обман, мошенничество, деньги назад!» – слышит Изумруд и не понимает этих слов и беспокойно шевелит ушами. «О чем они? – думает он с удивлением. – Ведь я так хорошо бежал!» И

на мгновение ему бросается в глаза лицо англичанина. Всегда такое спокойное, слегка насмешливое и твердое, оно теперь пылает гневом. И вдруг англичанин кричит что-то высоким гортанным голосом, взмахивает быстро рукой, и звук пощечины сухо разрывает общий гомон.

VI

Изумруда отвели домой, через три часа дали ему овса, а вечером, когда его поили у колодца, он видел, как из-за забора подымалась желтая большая луна, внушавшая ему темный ужас.

А потом пошли скучные дни.

Ни на прикидки, ни на проминки, ни на бега его не водили больше. Но ежедневно приходили незнакомые люди, много людей, и для них выводили Изумруда на двор, где они рассматривали и ощупывали его на все лады, лазили ему в рот, скребли его шерсть пемзой и всё кричали друг на друга.

Потом он помнил, как его однажды поздним вечером вывели из конюшни и долго вели по длинным, каменным, пустынным улицам, мимо домов с освещенными окнами. Затем вокзал, темный трясущийся вагон, утомление и дрожь в ногах от дальнего переезда, свистки паровозов, грохот рельсов, удушливый запах дыма, скучный свет качающегося фонаря. На одной станции его выгрузили из вагона и долго вели незнакомой дорогой, среди просторных, голых осенних полей, мимо деревень, пока не привели в незнакомую конюшню и не заперли отдельно, вдали от других лошадей.

Сначала он все вспоминал о бегах, о своем англичанине, о Ваське, о Назаре и об Онегине и часто видел их во сне, но с течением времени позабыл обо всем. Его от кого-то прятали, и все его молодое, прекрасное тело томилось, тосковало и опускалось от бездействия. То и дело подьез-

жали новые, незнакомые люди и снова толклись вокруг Изумруда, шупали и теребили его и сердито бранились между собою.

Иногда случайно Изумруд видел сквозь отворенную дверь других лошадей, ходивших и бегавших на воле, и тогда он кричал им, негодуя и жалуясь. Но тотчас же закрывали дверь, и опять скучно и одиноко тянулось время.

Главным в этой конюшне был большеголовый, заспанный человек с маленькими черными глазками и тоненькими черными усами на жирном лице. Он казался совсем равнодушным к Изумруду, но тот чувствовал к нему непонятный ужас.

И вот однажды, ранним утром, когда все конюхи спали, этот человек тихонько, без малейшего шума, на цыпочках вошел к Изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и ушел. Изумруд немного удивился этому, но покорно стал есть. Овес был сладок, слегка горьковат и едок на вкус. «Странно, – подумал Изумруд, – я никогда не пробовал такого овса».

И вдруг он почувствовал легкую резь в животе. Она пришла, потом прекратилась и опять пришла сильнее прежнего и увеличивалась с каждой минутой. Наконец боль стала нестерпимой. Изумруд глухо застонал. Огненные колеса завертелись перед его глазами, от внезапной слабости все его тело стало мокрым и дряблым, ноги задрожали, подогнулись, и жеребец грохнулся на пол. Он еще пробовал подняться, но мог встать только на одни передние ноги и опять валился на бок. Гудящий вихрь закружился у него в голове; проплыл англичанин, скаля лошадиному длинные зубы, Онегин пробежал мимо, выпятив свой верблюжий кадык и громко ржа. Какая-то сила несла Изумруда беспощадно и стремительно глубоко вниз, в темную и холодную яму. Он уже не мог шевелиться.

Судороги вдруг свели его ноги и шею и выгнули спину. Вся кожа на лошади задрожала мелко и быстро и покрылась остро пахнувшей пеной.

Желтый движущийся свет фонаря на миг резнул ему глаза и потух вместе с угасшим зрением. Ухо его еще уловило грубый человеческий окрик, но он уже не почувствовал, как его толкнули в бок каблуком. Потом все исчезло — навсегда.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
(1871-1919)



ПЕТЬКА НА ДАЧЕ

Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко:

– Мальчик, воды!

Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с тою обостренною внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился еще один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шепота.

Если его брил не сам хозяин, Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михайла, то шепот становился громким и принимал форму неопределенной угрозы:

– Вот погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду и его ждет наказание. «Так их и следует», – думал посетитель, кривя голову набок и созерцая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жесткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешевых духов, полной надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный: швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешевого разврата. Они господствовали над этою местностью и придавали ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал от роду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посетитель попроще, а подмастерья, в отсутствие хозяина, ленились работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик; тогда и подмастерья кричали на Николку, но не всерьез, а только для удовольствия окорначенного простака. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничал и держался как большой: курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмасте-

рьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть на крупную драку, и когда возвращался оттуда, счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощечины: по одной на каждую щеку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днем спотыкавшийся от желания спать, приваливался в темном углу за перегородкой, а Михайла читал «Московский листок» и среди описания краж и грабежей искал знакомого имени кого-нибудь из обычных посетителей, – Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоем, и объяснял «мальчику», что значит стричь под польку, бобриком или с пробормом.

Иногда они садились на окно, рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивленные глаза и редкие прямые ресницы, и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим, безжалостным солнцем и давали такую же серую, неохлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распушенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Часто чья-нибудь лохматая голова бессильно клонилась на плечо, и тело невольно искало простора для сна, как у третьеклассного пассажира, проехавшего тысячи верст без отдыха, но лечь было негде. По дорожкам расхаживал с палкой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или не бросился на траву, порыжевшую от солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины, всегда одетые бо-

лее чисто, даже с намеком на моду, были все как будто на одно лицо и одного возраста, хотя иногда попадались совсем старые или молоденькие, почти дети. Все они говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, обнимали мужчин так просто, как будто были на бульваре совсем одни, иногда тут же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за нее. Зубы весело скалились, лица становились осмысленнее и живее, около дерущихся собиралась толпа; но когда приближался ярко-синий сторож, все лениво разбредались по своим местам. И только побитая женщина плакала и бессмысленно ругалась; ее растрепанные волосы волочились по песку, а полуобнаженное тело, грязное и желтое при дневном свете, цинично и жалко выставлялось наружу. Ее усаживали на дно извозчичьей пролетки и везли, и свесившаяся голова ее болталась, как у мертвой.

Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место... Очень хотелось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родных брата. И зимою и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух голых женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушиных следов да увеличивалась черная копоть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела керосиновая лампа-молния. И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Мальчик, воды», — и он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По вос-

кресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать, и часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слышал резкого крика: «Мальчик, воды!» – и все худел, а на стриженной голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с безгливостью смотрели на этого худенького, веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика. Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын – и тот дурачок.

Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу, в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было, ради пристойности, поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, ко-

торый, заложив руки в карманы, стоял тут же и старался с обычною дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска: у него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был на даче.

Вокзал с его разноголосую суетою, грохотом проходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им и конца нету впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса; а когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженная голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне.

Он родился и вырос в городе, в поле был первый раз в своей жизни, и все здесь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно видеть так далеко, что лес кажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его со своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться:

– Впервой по чугунке едет – интересуется...

– Угу! – пробурчал господин и уткнулся в газету.



Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже три года живет у парикмахера и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая и другой поддержки, на случай болезни или старости, у нее нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, темно-зеленая от постоянной сырости, и на краю ее были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зеленой горе, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальной гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности и отшатнулся от окна, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пу-

ти. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.

В первые два дня Петькина пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности; полянки, светлые, зеленые, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер, а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней; только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленой поверхностью. В первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее и, когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, конфузливо улыбался и отвечал:

– Хорошо!..

И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то.

Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. У гимназиста Мити лицо было смугло-желтым, как вагон второго класса, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые – так выжгло их солнце. Он ловил в пруду рыбу, когда



Петька увидал его, бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку и потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее и делал вид, что плавает: поднимал нос и брови кверху, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, ляскал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца: лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо: всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растет молодая рябина и березки, тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская.

– Смотри-ка, растолстел как! Чистый купец! – радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало – не потому, чтобы ему не хотелось есть, а некогда было возиться: если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обглаживает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дел было по горло: нужно пять раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей, – на все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами: шершавая земля так ласково то жжет, то холодит ногу. Свою подержанную

гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господа: нарядные, веселые, они со смехом садятся в качающуюся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а отраженные деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок.

В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное «куфарке Надежде», и, когда прочел его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже ввечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собою в «классики» и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку.

Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал:

– Что, брат, ехать надо!

Петька конфузливо улыбался и молчал.

«Вот чудак-то!» – подумал барин.

– Ехать, братец, надо.

Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила:

– Надобно ехать, сынок!

– Куда? – удивился Петька.

Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, – уже найдено.

– К хозяину Осипу Абрамовичу.

Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно как божий день. Но во рту у него пересохло, и язык двигался с трудом, когда он спросил:

– А как же завтра рыбу ловить? Удочка – вот она...

– Что же поделаешь!.. Требует. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь: гляди, опять отпустит – он добрый, Осип Абрамович.

Но Петька и не думал плакать и все не понимал. С одной стороны был факт – удочка, с другой призрак – Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барина и удивился бы сам, если бы был способен к самоанализу: он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощенные, – он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее.

Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу:

– Вот видишь, перестал, – детское горе непродолжительно.

– Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика.

– Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. Ты готова?

И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка.

На другой день, с семичасовым утренним поездом, Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручонки его были

благонравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом.

Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.

– Ты удочку спрячь! – сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской.

– Спрячу, сынок, спрячу! Может, еще приедешь.

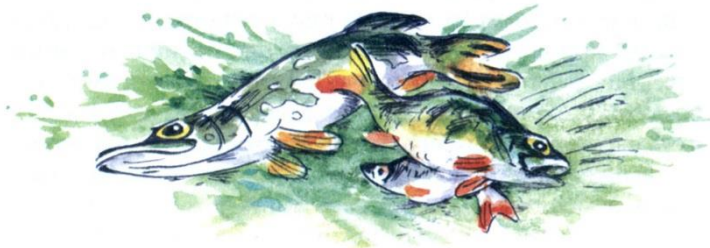
И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: «Мальчик, воды!» – и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределенно угрожающий шепот: «Вот погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок, и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слышалось неровное дыхание детских грудей, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, производил:

– Вот черти! Чтоб им повылазило!

– Кто черти?

– Да так... Все.

Мимо проезжал обоз и своим мощным гроыханием заглушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину.



ДЖЕК ЛОНДОН (1876-1916)



СКАЗАНИЕ О КИШЕ

Давным-давно у самого Полярного моря жил Киш. Долгие и счастливые годы был он первым человеком в своем поселке, умер, окруженный почетом, и имя его было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя, помнят и правдивую повесть о нем, которую они слышали от своих отцов и которую сами передадут своим детям и детям своих детей, а те – своим, и так она будет переходить из уст в уста до конца времен. Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает над ледяными просторами, а в воздухе носятся белые хлопья и никто не смеет выглянуть наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной иглу¹³, достиг почета и занял высокое место в своем поселке.

Киш, как гласит сказание, был смышленным мальчиком, здоровым и сильным, и видел уже тринадцать солнц. Так считают на Севере годы, потому что каждую зиму солнце оставляет землю во мраке, а на следующий год поднимается над землей новое солнце, чтобы люди снова могли

¹³ Иглу – зимнее жилище канадских эскимосов. Строение куполообразной формы, сложенное из снежных плит.

согреться и поглядеть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным охотником и встретил смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого полярного медведя, дабы даровать жизнь своим соплеменникам. Один на один он схватился с медведем, и тот переломал ему все кости; но на медведе было много мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сыном, и, когда погиб его отец, он стал жить вдвоем с матерью. Но люди быстро все забывают, забыли и о подвиге его отца, а Киш был всего только мальчик, мать его – всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили так, забытые всеми, в самой бедной иглу.

Но как-то вечером в большой иглу вождя Клош-Квана собрался совет, и тогда Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце – мужество мужчины, и он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого он поднялся и ждал, когда наступит тишина и стихнет гул голосов.

– Я скажу правду, – так начал он. – Мне и матери моей дается положенная доля мяса. Но это мясо часто бывает старое и жесткое, и в нем слишком много костей.

Охотники – и совсем седые, и только начавшие сесть, и те, что были в расцвете лет, и те, что были еще юны, – все разинули рты. Никогда не доводилось им слышать подобных речей. Чтобы ребенок говорил, как взрослый мужчина, и бросил им в лицо дерзкие слова!

Но Киш продолжал твердо и сурово:

– Мой отец, Бок, был храбрым охотником, вот почему я говорю так. Люди рассказывают, что Бок один приносил больше мяса, чем любые два охотника, даже из самых лучших, что своими руками он делил это мясо и своими глазами следил за тем, чтобы самой старой старухе и самому хилому старику досталась справедливая доля.

– Вон его! – закричали охотники. – Уберите отсюда этого мальчишку! Уложите его спать. Мал он еще разговаривать с седоголовыми мужчинами.

Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется волнение.

– У тебя есть жена, Уг-Глук, – сказал он, – и ты говоришь за нее. А у тебя, Массук, – жена и мать, и за них ты говоришь. У моей матери нет никого, кроме меня, и потому говорю я. И я сказал: Бок погиб потому, что он был храбрым охотником, а теперь я, его сын, и Айкига, мать моя, которая была его женой, должны иметь вдоволь мяса до тех пор, пока есть вдоволь мяса у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал.

Он сел, но уши его чутко прислушивались к буре протеста и возмущения, вызванной его словами.

– Разве мальчишка смеет говорить на совете? – প্রশамкал старый Уг-Глук.

– С каких это пор грудные младенцы стали учить нас, мужчин? – зычным голосом спросил Массук. – Или я уже не мужчина, что любой мальчишка, которому захотелось мяса, может смеяться мне в лицо?

Гнев их кипел ключом. Они приказали Кишу сейчас же идти спать, грозили совсем лишить его мяса, обещали задать ему жестокую порку за дерзкий поступок. Глаза Киша загорелись, кровь забурлила и жарким румянцем прилила к щекам. Осыпаясь бранью, он вскочил с места.

– Слушайте меня, вы, мужчины! – крикнул он. – Никогда больше не стану я говорить на совете, никогда – прежде чем вы не придете ко мне и не скажете: «Говори, Киш, мы хотим, чтобы ты говорил». Так слушайте же, мужчины, мое последнее слово. Бок, мой отец, был великий охотник. Я, Киш, его сын, тоже буду охотиться и приносить мясо и есть его. И знайте отныне, что дележ моей добычи будет справедлив. И ни одна вдова, ни один беззащитный старик не будет больше плакать ночью оттого, что у них нет мяса, в то время как сильные мужчины стонут от тяжелой боли, ибо съели слишком много. И тогда будет считаться позором, если сильные мужчины станут объедаться мясом! Я, Киш, сказал все.

Насмешками и глумлением проводили они Киша, когда он выходил из иглу, но он стиснул зубы и пошел своей дорогой, не глядя ни вправо, ни влево.

На следующий день он направился вдоль берега, где земля встречается со льдами. Те, кто видел его, заметили, что он взял с собой лук и большой запас стрел с костяными наконечниками, а на плече нес большое охотничье копье своего отца. И много было толков и много смеха по этому поводу. Это было невиданное событие. Никогда не случалось, чтобы мальчик его возраста ходил на охоту, да еще один. Мужчины только покачивали головой да пророчески что-то бормотали, а женщины с сожалением смотрели на Айкигу, лицо которой было строго и печально.

– Он скоро вернется, – сочувственно говорили женщины.

– Пусть идет. Это послужит ему хорошим уроком, – говорили охотники. – Он вернется скоро, тихий и покорный, и слова его будут кроткими.

Но прошел день и другой, и на третий поднялась жестокая пурга, а Киша все не было. Айкига рвала на себе волосы и вымазала лицо сажей в знак скорби, а женщины горькими словами корили мужчин за то, что они плохо обошлись с мальчиком и послали его на смерть; мужчины же молчали, готовясь идти на поиски тела, когда утихнет буря.

Однако на следующий день рано утром Киш появился в поселке. Он пришел с гордо поднятой головой. На плече он нес часть туши убитого им зверя. И поступь его стала надменной, а речь звучала дерзко.

– Вы, мужчины, возьмите собак и нарты и ступайте по моему следу, – сказал он. – За день пути отсюда найдете много мяса на льду – медведицу и двух медвежат.

Айкига была вне себя от радости. Он же принял ее восторги, как настоящий мужчина, сказав:

– Идем, Айкига, надо поесть. А потом я лягу спать, потому что я устал.

И он вошел в иглу и сытно поел, после чего спал двадцать часов подряд.

Сначала было много сомнений, много сомнений и споров. Выйти на полярного медведя – дело опасное, но трижды и три раза трижды опаснее выйти на медведицу с медвежатами. Мужчины не могли поверить, что мальчик Киш один, совсем один, совершил такой великий подвиг. Но женщины рассказывали о свежем мясе только что убитого зверя, которое принес Киш, и это поколебало их недоверие. И вот наконец они отправились в путь, ворча, что если даже Киш убил зверя, то, верно, он не позаботился освежевать его и разделать тушу. А на Севере это нужно делать сразу, как только зверь убит, иначе мясо замерзнет так крепко, что его не возьмет даже самый острый нож; а взвалить мороженую тушу в триста фунтов на нарты и везти по неровному льду – дело нелегкое. Но, придя на место, они увидели то, чему не хотели верить: Киш не только убил медведей, но рассек туши на четыре части, как истый охотник, и удалил внутренности.

Так было положено начало тайне Киша. Дни шли за днями, и тайна эта оставалась неразгаданной. Киш снова пошел на охоту и убил молодого, почти взрослого медведя, а в другой раз – огромного медведя-самца и его самку. Обычно он уходил на три-четыре дня, но бывало, что пропадал среди ледяных просторов и целую неделю. Он никого не хотел брать с собой, и народ только диву давался. «Как он это делает? – спрашивали охотники друг у друга. – Даже собаки не берет с собой, а ведь собака – большая подмога на охоте».

– Почему ты охотишься только на медведя? – спросил его как-то Клош-Кван.

И Киш сумел дать ему надлежащий ответ:

– Кто же не знает, что только на медведе так много мяса!

Но в поселке сзади поговаривать о колдовстве.

– Злые духи охотятся вместе с ним, – утверждали одни. – Поэтому его охота всегда удачна. Чем же иначе можно это объяснить, как не тем, что ему помогают злые духи?

– Кто знает! А может, это не злые духи, а добрые? – говорили другие. – Ведь его отец был великим охотником. Может, он теперь охотится вместе с сыном и учит его терпению, ловкости и отваге. Кто знает!

Так или не так, но Киша не покидала удача, и нередко менее искусным охотникам приходилось доставлять в поселок его добычу. И в дележе он был справедлив. Так же, как и отец его, он следил за тем, чтобы самый хилый старик и самая старая старуха получали справедливую долю, а себе оставлял ровно столько, сколько нужно для пропитания. И поэтому-то и еще потому, что он был отважным охотником, на него стали смотреть с уважением и побаиваться его и начали говорить, что он должен стать вождем после смерти старого Клош-Квана. Теперь, когда он прославил себя такими подвигами, все ждали, что он снова появится в совете, но он не приходил, а им было стыдно позвать его.

– Я хочу построить себе новую иглу, – сказал Киш однажды Клош-Квану и другим охотникам. – Это должна быть просторная иглу, чтобы Айкиге и мне было удобно в ней жить.

– Так, – сказали те, с важностью кивая головой.

– Но у меня нет на это времени. Мое дело – охота, и она отнимает все мое время. Было бы справедливо и правильно, чтобы мужчины и женщины, которые едят мясо, что я приношу, построили мне иглу.

И они выстроили ему такую большую, просторную иглу, что она была больше и просторнее даже жилища самого Клош-Квана. Киш и его мать перебрались туда, и впервые после смерти Бока Айкига стала жить в довольстве. И не только одно довольство окружало Айкигу – она была

матерью замечательного охотника, и на нее смотрели теперь как на первую женщину в поселке, и другие женщины посещали ее, чтобы испросить у нее совета, и ссылались на ее мудрые слова в спорах друг с другом или со своими мужьями.

Но больше всего занимала все умы тайна чудесной охоты Киша. И как-то раз Уг-Глук бросил Кишу в лицо обвинение в колдовстве.

– Тебя обвиняют, – зловеще сказал Уг-Глук, – в сношениях с злыми духами; вот почему твоя охота удачна.

– Разве вы едите плохое мясо? – спросил Киш. – Разве кто-нибудь в поселке заболел от него? Откуда ты можешь знать, что тут замешано колдовство? Или ты говоришь наугад – просто потому, что тебя душит зависть?

И Уг-Глук ушел пристыженный, и женщины смеялись ему вслед. Но как-то вечером на совете после долгих споров было решено послать соглядатаев по следу Киша, когда он снова пойдет на медведя, и узнать его тайну. И вот Киш отправился на охоту, а Бим и Боун, два молодых, лучших в поселке охотника, пошли за ним по пятам, стараясь не попасться ему на глаза. Через пять дней они вернулись, дрожа от нетерпения, – так хотелось им поскорее рассказать то, что они видели. В жилище Клош-Квана был срочно созван совет. И Бим, тараща от изумления глаза, начал свой рассказ:

– Братья! Как нам было приказано, мы шли по следу Киша. И уж так осторожно мы шли, что он ни разу не заметил нас. В середине первого дня пути он встретился с большим медведем-самцом, и это был очень, очень большой медведь...

– Больше и не бывает, – перебил Боун и повел рассказ дальше: – Но медведь не хотел вступать в борьбу, он повернул назад и стал не спеша уходить по льду. Мы смотрели на него со скалы на берегу, а он шел в нашу сторону, и за ним, без всякого страха, шел Киш. И Киш кричал на

медведя, осыпал его бранью, размахивал руками и поднимал очень большой шум. И тогда медведь рассердился, встал на задние лапы и зарычал. А Киш шел прямо на медведя...

– Да, да, – подхватил Бим, – Киш шел прямо на медведя, и медведь бросился на него, и Киш побежал. Но когда Киш бежал, он уронил на лед маленький круглый шарик, и медведь остановился, обнюхал этот шарик и проглотил его. А Киш все бежал и все бросал маленькие круглые шарики, а медведь все глотал их.

Тут поднялся крик, и все выразили сомнение, а Уг-Глук прямо заявил, что он не верит этим сказкам.

– Собственными глазами видели мы это, – убеждал их Бим.

– Да, да, собственными глазами, – подтвердил и Боун. – И так продолжалось долго, а потом медведь вдруг остановился, завыл от боли и начал как бешеный колотить передними лапами о лед. А Киш побежал дальше по льду и стал на безопасном расстоянии. Но медведю было не до Киша, потому что маленькие круглые шарики наделали у него внутри большую беду.

– Да, большую беду, – перебил Бим. – Медведь царапал себя когтями и прыгал по льду, словно разыгравшийся щенок. Но только он не играл, а рычал и выл от боли, – и всякому было ясно, что это не игра, а боль. Ни разу в жизни я такого не видел.

– Да и я не видел, – опять вмешался Боун. – А какой это был огромный медведь!

– Колдовство, – проронил Уг-Глук.

– Не знаю, – отвечал Боун. – Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Медведь был такой тяжелый и прыгал с такой силой, что скоро устал и ослабел, и тогда он пошел прочь вдоль берега и все мотал головой, а потом садился и рычал и выл от боли – и снова шел. А Киш тоже шел за медведем, а мы – за Кишем, и так мы шли весь день и еще три дня. Медведь все слабел и выл от боли.



– Это колдовство! – воскликнул Уг-Глук. – Ясно, что это колдовство!

– Все может быть.

Но тут Бим опять сменил Боуна:

– Медведь стал кружить. Он шел то в одну сторону, то в другую, то назад, то вперед, то по кругу и снова и снова пересекал свой след и наконец пришел к тому месту, где встретил его Киш. И тут он уже совсем ослабел и не мог даже ползти. И Киш подошел к нему и прикончил его копьем.

– А потом? – спросил Клош-Кван.

– Потом Киш принялся свежевать медведя, а мы побежали сюда, чтобы рассказать, как Киш охотится на зверя.

К концу этого дня женщины притащили тушу медведя, в то время как мужчины собирали совет. Когда Киш вернулся, за ним послали гонца, приглашая его прийти тоже, но он велел сказать, что голоден и устал и что его иглу достаточно велика и удобна и может вместить много людей.

И любопытство было так велико, что весь совет во главе с Клош-Кваном поднялся и направился в иглу Киша. Они застали его за едой, но он встретил их с почетом и усадил по старшинству. Айкига то горделиво выпрямлялась, то в смущении опускала глаза, но Киш был совершенно спокоен.

Клош-Кван повторил рассказ Бима и Боуна и, закончив его, произнес строгим голосом:

– Ты должен дать нам объяснение, о Киш. Расскажи, как ты охотишься? Нет ли здесь колдовства?

Киш поднял на него глаза и улыбнулся.

– Нет, о Клош-Кван! Не дело мальчика заниматься колдовством, и в колдовстве я ничего не смыслю. Я только придумал способ, как можно легко убить полярного медведя, вот и все. Это смекалка, а не колдовство.

– И каждый может сделать это?

– Каждый.

Наступило долгое молчание.

Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.

– И ты... ты расскажешь нам, о Киш? – спросил наконец Клош-Кван дрожащим голосом.

– Да, я расскажу тебе. – Киш кончил высасывать мозг из кости и поднялся с места. – Это очень просто. Смотри!



Он взял узкую полоску китового уса и показал ее всем. Концы у нее были острые, как иглы. Киш стал осторожно

скатывать ус, пока он не исчез у него в руке; тогда он внезапно разжал руку – и ус сразу распрявился. Затем Киш взял кусок тюленьего жира.

– Вот так, – сказал он, – Надо взять маленький кусочек тюленьего жира и сделать в нем ямку – вот так. Потом в ямку надо положить китовый ус – вот так, хорошенько его свернув, и закрыть его сверху другим кусочком жира. Потом это надо выставить на мороз, и, когда жир замерзнет, получится маленький круглый шарик. Медведь проглотит шарик, жир растопится, острый китовый ус распрявится – медведю станет больно. А когда медведю станет очень больно, его легко убить копьём. Это совсем просто.

И Уг-Глук воскликнул:

– О!

И Клош-Кван сказал:

– А!

И каждый сказал по-своему, и все поняли.

Так кончается сказание о Кише, который жил давным-давно у самого Полярного моря. И потому, что Киш действовал смекалкой, а не колдовством, он из самой жалкой иглу поднялся высоко и стал вождем своего племени. И говорят, что, пока он жил, народ благоденствовал и не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного старика, которые бы плакали ночью оттого, что у них нет мяса.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
(1882/1883-1945)



**РАССКАЗ О КАПИТАНЕ ГАТТЕРАСЕ,
О МИТЕ СТРЕЛЬНИКОВЕ,
О ХУЛИГАНЕ ВАСЬКЕ ТАБУРЕТКИНЕ
И ЗЛОМ КОТЕ ХАМЕ**

Солнце светило в глубокий двор. Точнее говоря, солнце освещало одну из стен многоэтажного дома, где из раскрытых окон были высунуты для проветривания детские матрасики, подушки и ватные одеяла.

На пятом этаже в одном из окон виднелась стриженная круглая голова мальчика десяти лет. Он сидел у стола и читал «Капитана Гаттераса» – роман Жюль Верна. Нельзя удивляться тому, что в будний день он сидел и читал «Капитана Гаттераса», – школа была распущена по случаю скарлатины.

Противоположная стена дома находилась в тени. Там в первом этаже у окна стоял отвратительный молодой человек лет шестнадцати, курносый, с желтыми от табаку толстыми губами и припухшими глазками. На низенький лоб

его свисал вихор. Это был – гроза всех детей, горе для всего населения дома, хулиган Васька Табуреткин.

Он совершенно ничем не занимался, отнимал у матери деньги и только и думал о том, какую бы ему устроить бузу или где раздобыть два полтинника на пиво и на дорогие папиросы «Самородок».

Сейчас, например, Васька думал, что хорошо бы раздобыть резинку и крупной дробы и запустить в окно, в стриженую голову Мите Стрельникову, – вот-то подскочит! Кроме того, он ждал часа, когда начнется радиопередача: ему это нужно было для одной хулиганской выходки, которая уже несколько недель выводила из терпения всех в доме, у кого были ламповые приемники.

Митя Стрельников читал «Капитана Гаттераса». Он до того замечтался над приключениями этого отважного и благородного капитана, что не замечал ни матрасов в окнах, ни Васькина вихра и вздернутого носа внизу, ни кухонного чада, струившегося со всего двора к весеннему небу.

Перед Митиными глазами по зелено-синим волнам плыл чудный корабль среди льдин или айсбергов. На капитанском мостике стоял мужественный капитан Гаттерас, с открытой головой, с черной бородой, в тюленьих сапогах.

Он плыл к таинственному Северному полюсу. Он думал, что, пробившись сквозь льды и снега, он увидит на полюсе теплое море и остров, согреваемый вулканами. Там – высокие леса, сверкающие водопады, лебеди и пингвины, там живет неизвестная человеческая раса, люди с белыми волосами и розовыми глазами.

Капитан Гаттерас глядел с капитанского мостика вдаль, где поднимались снежные вьюги, льдины, бродили белые медведи, и шерсть их светилась от северного сияния. С шелестом и тихим потрескиванием северное сияние разворачивалось и спадало с неба в виде розовых, голубых и зеленоватых лент!

Корабль летел все вперед, и сердце капитана Гаттераса отважно стучало: вперед, вперед!

Над Митиным окошком раздался хриплый и зловещий вой. Митя оторвал от книги уставшие глаза. Это кричало второе отвратительное существо на дворе – рыжий кривой кот, по прозвищу Хам. Он был длиною в аршин, с оторванным хвостом, с глубоким шрамом на морде. Он был свиреп и так силен, что его трусили даже фокстерьеры, которые, как известно, никого не боятся.

Хам недаром дико кричал на крыше. Он намеревался, так или иначе, через чердачное окно и черную лестницу пробраться на кухню. Ему был нужен белый сибирский кот Снежок, чтобы избить его до смерти.

Снежок был красивый пушистый кот. Когда он садился на подоконнике и синими глазами глядел вниз, – все кошки сладенько мяукали. Хам кровожадно ненавидел его, подкарауливал повсюду и вступал в бой. Один раз Снежка едва спасли от Хамовых зубов и когтей и с тех пор не выпускали из квартиры. Но стоило кухарке приотворить дверь, Хам врывается на кухню, – шерсть торчком, горящие глаза, – выл и шипел на весь дом. Приходилось гнать его щеткой, которую он грыз и кусал. Таков был Хам.

Сейчас он как-то особенно угрожающе кричал на крыше. Митя представил себе, что так именно завывали белые медведи в ту ночь, когда капитан Гаттерас, стоя около саней, запряженных собаками, увидел далеко на горизонте огромный столб огня и дыма, – это в полярное небо взлетели обломки коварно взорванного его корабля. Медведи выли тогда и царапали когтями лед, чувствуя, что капитан Гаттерас не уйдет от них.

Но, конечно, Митя не слушал бы так спокойно Хамовы вопли, если бы знал, что кухарка ушла в сарай, дверь на кухне оставила приоткрытой и Снежок удрал на лестницу.

Но вот настал час радиопередачи. Васьки Табуреткина уже не было у окна. Он сидел за сломанным шкафом в

углу и настраивал двухламповый приемник. Странно предположить, что такой бездельник завел себе отличный аппарат с лампочками. Странно, но это так. Откуда он раздобыл деньги на это и почему, раздобыв, не истратил их на дорогие папиросы «Самородок» и на пиво, – тоже не выяснено. Мы сейчас увидим, для чего понадобился приемник.

Передавалась очень интересная лекция: «История открытия Северного полюса». Вот уже все наушники проговорили: «Слушайте, слушайте, слушайте...» Митя Стрельников, не выпуская из рук книжки, сел с другой стороны стола у детекторного приемника, устроенного в пенале, с тем, чтобы одновременно читать и слушать.

Ученый голос начал говорить:

«Уже давно пытливым человеческим ум стремился разгадать тайну Северного полюса. Жюль Верн в своем замечательном романе «Капитан Гаттерас» изобразил одну из таких отважных попыток...»

«Гы, гы, Гаттерас, Матерас, наплевал я на вас», – перебил профессора хулиганский голос Васьки Табуреткина, и во все наушники во всем доме начало получаться так:

«Первая попытка достичь Северного полюса... Черти полосатые, носы конопатые, дураки сопатые... Но отважный мореплаватель погиб вместе с кораблем, затертый льдами севернее Гренландии... Мордандии, чепухандии, всех вас вместе с Гаттерасом облить кислым квасом...» И тут Васька начал так ругаться, что всякий уважающий себя мальчик бросил бы радионаушники.

Объяснялось все очень просто: Васька Табуреткин, сидя в углу за шкафом, кричал и ругался в ламповый приемник. А, как известно, катодный аппарат принимает звуковые волны, которые образуют слабые индуктивные токи, и посылает магнитные волны на небольшое пространство – на несколько десятков метров. Во всяком случае, все антенны на дворе принимали Васькину ругань, и во всех

наушниках получалась невероятная чепуха... Этого Ваське только и нужно было...

Митя Стрельников сорвал наушники, швырнул книжку. От злости стриженные волосы на его голове стали торчком. Кончено! Митя был председателем санитарной комиссии в «Г» классе, членом учкома и секретарем стенгазеты. Он долго не задумывался над тем, как нужно действовать.

Он побежал на лестницу и стал звонить во все квартиры, где были радиолюбители. «Товарищ, – говорил он каждому, – приглашаю вас на двор, на общее собрание по поводу хулиганства Табуреткина...»

Радиолюбители, кто постарше, – отказались, кто помоложе, – пошли на двор к дровяному сараю. Собралось двенадцать мальчиков и девочек. И тут выяснилось – сколько непоправимого зла буквально всем причинил Табуреткин. Все жаловались, все предлагали Ваську заклеить. Но когда дошло дело – как клеймить? – никто ничего путного не предложил.

А Табуреткин, высунувшись из окошка, издевался и плевал на шестнадцать шагов в сторону собрания.

Тогда выступил возмущенный Митя Стрельников.

– Товарищи, – сказал он, – наука изобрела аэропланы, радио, говорящее кино и еще многое. Изобретатель Циолковский скоро полетит на луну. Товарищи, перед нами близкий пример человека, которого не могли остановить никакие препятствия в мире, – это капитан Гаттерас. А мы даже не можем придумать, как обуздать Табуреткина. Позор!

Тогда все почувствовали позор и опустили головы.

– Товарищи, – продолжал Митя, – я предлагаю не выбирать никаких комиссий, а тут же, не сходя с места, решить, – как обуздать хулигана...

Опустив головы, все молчали. Одни боялись Васьки, у других просто ничего не придумывалось. А Васька Табу-

реткин кривлялся в окно: пронзительно свистал, хохотал, высовывал язык с бородавками.

Позор, позор!

– Эй, вы, мелочь, – кричал он, – разбегайтесь кто куда, всем сейчас уши пооторву!

И он стал перелезать через окно. Мальчики и девочки с необыкновенной поспешностью разбежались кто куда. Остался один Митя Стрельников. Он сжал кулаки и смело, как капитан Гаттерас, глядел на Табуреткина.

Очевидно, что Мите пришлось бы очень плохо, но в это время произошло следующее: весь двор огласился воплями двух котов. Все, кто был на дворе, подняли головы, люди высунулись из окошек. По крыше, по самому краю, шел Хам, волоча огрызок хвоста.

Там, куда он шел, на крыше, также на самом краю, стоял Снежок, выгнув спину, шевеля опущенным хвостом. Вся шерсть у него поднялась дыбом. Он шипел.

Хам полз, – волоча брюхо, прижимал уши. Он приближался все медленнее. У Снежка изо рта раздалось шипение, как из паровоза, когда выпускают пар. Вот Хам приблизился – совсем носом к носу. Он орал хриплым мявом, забирая все выше и выше, – крики его не были похожи ни на что в природе.

Васька Табуреткин забыл про Митю. «Вали, вали, вали, – кричал он котам, – бей его, бей его, Хам!..»

Снежок плюнул Хаму в нос: «Пфф, пфф, пфф...» Хам поднял лапу. Снежок ударил его по морде, разорвал ухо. Мгновенно Хам нанес ему две пощечины.

– Уау! – взвыл Снежок, – Пфф, пфф, пфф...

Он приподнялся и заколотил лапами по Хамовой морде. Хам кинулся вперед. Коты сцепились, покатались клубком по краю крыши. Васька Табуреткин заржал от удовольствия. Снежок отскочил. Хам отскочил.

Оба кота тихо выли, усы и уши совсем спрятали под шерсть. Поджимали лапки для прыжка. Кинулись. Под-

сочили оба на аршин, сцепились в воздухе. Клочками тела белая и рыжая шерсть.

Несомненно, Хам был сильнее, но, должно быть, Снежок повредил ему единственный глаз. Хам прыгнул и промахнулся. Снежок увертывался, норовя сесть верхом. Но каждый раз Хам подскакивал – вверх, в сторону, секунду передыхал и снова кидался в драку. Вот он еще раз промахнулся, и Снежок так ударил его, что Хам лег на спину, но и тут справился. Хам не такой был кот, чтобы дешево продать жизнь.

Он что-то задумал... Он пятился к самому краю крыши, отбиваясь и фыркая. Снежок глядел ему в глаза, не понимая опасности. И вот на самом краю Хам поднялся на задние лапы, передними обхватил Снежка, взвыл и кинулся вместе с ним с высоты пятого этажа. Сидя сверху, он крепко сжимал лапами несчастного Снежка.

Под самым окном Васьки Табуреткина коты тяжело ударились об асфальт: Снежок – спиной, Хам – верхом на нем. Васька загоготал:

– Молодец, Хам, знай наших! – и махнул вихром в сторону Мити Стрельникова. – Ну-ка, ты теперь ко мне ходи...

Митя Стрельников подошел. Он увидел, что Снежок не шевелится. Хам, оглушенный падением, все еще сидит на нем.

– Думаешь, я тебя боюсь? – сказал Митя. – Ты сильнее, а не боюсь. Ты хулиган, а мы организованные.

– Ах, ты вот как? – сказал Васька, засучивая рукав.

Тогда Митя вспомнил находчивость в борьбе с медведями капитана Гаттераса, вспомнил, что ему, как председателю санитарной комиссии, члену учкома и секретарю стенгазеты, пятиться нельзя. Он схватил Хама за шиворот, не обращая внимания на вой и на острые когти, оттащил от Снежка и швырнул его в окно, в Ваську.



Обезумевший от злости кот вцепился Ваське в голову, и оба они кубарем покатались в глубину комнаты. Васька старался отодрать кота. Но не тут-то было. Хам царапался и кусался, плевал в лицо, рвал на Ваське рубашку.

И тогда весь двор с удивлением узнал, что непобедимый хулиган Табуреткин просто – жалкий трус. Он метался и катался вместе с котом по комнате и орал громче Хама.

– Ой-ооООй, спасиИИИИтеееееЕЕЕ, бешшШШШенный кооООт!..

Двенадцать мальчиков и девочек появились из всех дверей, побежали к Васькину окну. В это время с грохотом повалился старый комод, и под его обломками погиб двухламповый приемник.

– Мамкааа, ууу, – завопил Табуреткин...

Неизвестно, чем бы все это кончилось. Но вот появился дворник Константин, бывший красноармеец, выдавший битвы пострашнее, он налил ведро воды и, подойдя к окну, плеснул на Ваську и на кота.



Тогда только Ваське удалось отодрать от себя разъяренное животное. Плача, с распухшими губами и расцарапанными щеками, он швырнул Хама на двор.

– Так тебе и надо за твое хулиганство, – сказал Константин.

Из окон высовывались люди и говорили:

– И поделом, так и надо, и давно бы так.

А Васька только и мог, что злобно косился припухшими глазками из окна на детей. Радиоприемник его был сломан, хулиганская слава навек погибла.

Хам молча, прыжками унесся за дровяной сарай. Там он начал вылизываться, что, как известно, у кошек заменяет медицину. Снежок тоже отошел понемногу после падения и, прихрамывая, поплелся на кухню – жалобно мяукать у кухаркиной юбки.

Митя Стрельников сказал мальчикам и девочкам, что «повестка дня исчерпана», и пошел к себе на пятый этаж дочитывать приключения капитана Гаттераса, который взбирался с невероятными трудностями на ледяную гору, откуда он должен был увидеть наконец открытое море. Там солнце не заходило, – только касалось снежных пустынь, и снова начинался день. По следам Гаттераса гуськом шли голодные медведи...

В доме все радиолюбители сидели за радиоприемниками и ловили волны то из Берлина, то из Стокгольма, то из Лондона, то из Москвы.



ЮРИЙ КАЗАКОВ
(1927-1982)



ТЕДДИ

(История одного медведя)

1

Большого бурого медведя звали Тедди. У других зверей тоже были имена, но Тедди никак не мог запомнить их и постоянно путал и только свою кличку знал твердо, всегда откликался и шел, если его звали, и делал то, что ему говорили.

Жизнь его была однообразной. Работал он в цирке, работал так давно, что и счет потерял дням. Его, по привычке, держали в клетке, хоть он давно уже смирился и в клетке не было необходимости. Он стал равнодушен ко всему, ничем не интересовался и хотел только, чтобы его оставили в покое. Но он был старым, опытным артистом, и в покое его не оставляли.

Вечером его выпускали на ярко освещенный манеж, посередине которого не торопясь расхаживал высокий че-

ловец с напудренным лицом. На человеке были белые панталоны, мягкие черные сапоги и лиловая куртка с нашитой спереди золотой тесьмой. И панталоны, и куртка, и бледное равнодушное лицо человека всегда производили на Тедди сильное впечатление. Но больше всего медведь боялся его глаз.

Когда-то, в дни своей молодости, Тедди несколько раз поднимал страшный звериный бунт. Он тоскливо ревел, рвал прутья клетки, и никакими самыми жестокими мерами нельзя было его успокоить. Но приходил человек с бледным лицом, становился возле клетки, смотрел на Тедди, и каждый раз под его взглядом медведь покорно стихал и через час уже позволял выводить себя на репетицию.

Теперь Тедди уже не бунтовал и послушно проделывал всевозможные неловкие и ненужные, часто даже неприятные штуки. И человек в белых панталонах уже не грозил ему взглядом, а когда говорил о медведе, то называл его не иначе как «старый добрый Тедди», и в голосе его была ласка.

В кожаном наморднике выходил Тедди на манеж, кланялся зрителям, которые встречали его радостным шумом. Ему подавали велосипед, он задирает через седло лапу, отталкивался и, сильно нажимая на педали и крепко вцепившись в руль, ездил кругами по манежу. Громко играла музыка, а зрители смеялись и хлопали в ладоши.

Он умел делать еще несколько забавных штук: быстро перебирая лапами, катался на больших шарах, подымался и балансировал на тонкой металлической планке, дрался в надетых на передние лапы перчатках с другим медведем. Тедди не понимал, почему так веселятся эти люди, когда он проделывает свои неудобные штуки.

По ночам медведь часто не спал. В коридоре тускло горела маленькая лампочка, громко храпел старик сторож, от которого всегда вкусно пахло. Звери рычали и повизгивали во сне. От клеток шел тяжелый звериный запах. В уг-

лах было темно. По полу бегали большие наглые крысы, вставали на задние лапы, и от них тянулись тогда длинные тени.

Подумав и поворчав некоторое время, Тедди начинал заниматься своим туалетом. Он долго и равномерно вылизывал лапы и живот, а когда лапы и живот становились совершенно мокрыми и липкими, принимался за бока и спину. Но спину лизать было неловко, он скоро уставал и предавался тогда печальным размышлениям.

Вспоминал он детство свое и мать – красивую медведицу с мягкими лапами и длинным горячим языком. Но детства Тедди почти не помнил, помнил только небольшой ручей с желтыми песчаными берегами; песок был мелкий и горячий. Помнил еще кисло-сладкий запах муравьев, которых ему с тех пор не доводилось попробовать.

Думал он и еще о многом, какие-то образы посещали его, злость и горечь наполняли грудь, хотелось реветь, куда-то пойти и делать что-то свое, звериное, и громко вздыхал он всю ночь, а на другой день бывал особенно вялым и хмурым и неохотно выходил на репетицию.

2

Однажды цирк поехал куда-то далеко по железной дороге. Поехал и Тедди. Он ездил так много на своем веку, что уже ничему не удивлялся и не любил только запаха бензина, которым пахли автомашины.

Все происходило так же, как и всегда. На станции клетки со зверями закатывали в вагоны, люди кричали, ругались, что-то приколачивали. Наконец двери захлопнули, и скоро все равномерно задрожало и закачалось, и сильно захотелось спать. Дрожало и качалось два дня, потом все стихло. Когда двери открыли и стали выгружать клетки из вагонов и грузить на автомашины, все кругом было другое и пахло иначе, но Тедди не удивился этому.

Решено было накормить зверей, прежде чем везти их дальше. Пришел служитель, вычистил клетки, потом принес еду. Сунув в клетку Тедди немного вареной картошки, хлеба и тазик с овсянкой, служитель отвлекся чем-то и ушел, забыв запереть клетку.

Медведь, не обращая внимания на открытую дверцу, жадно ел картошку и овсянку и даже слегка похрюкивал — так проголодался. Съев обед и облизываясь, он, по привычке, стал подталкивать посуду к дверце и тут только заметил, что та не закрыта. Он сильно удивился, высунул голову наружу, посмотрел туда-сюда, зевнул, подался назад и улегся, закрыв глазки. Но через минуту он встал и опять высунулся. Понюхал воздух, поглядел, будто что-то припоминая, подумал, еще высунулся и спрыгнул с машины на землю. На земле он с наслаждением потянулся и стал с любопытством обходить машину.

К машине в это время подходил шофер. Он держал кепку под мышкой и что-то жевал. Ветер дул от него, Тедди почуял запах колбасы и пошел навстречу. Увидев медведя, шофер перестал жевать и замер. Тедди поднялся на задние лапы и ласково заворчал. Тогда шофер быстро повернулся, уронил кепку и бросился со всех ног к низкому длинному дому с какой-то вывеской над дверью.

— Помогите! — в ужасе закричал он.

Тедди опустил голову и на всякий случай подался в сторону. Он даже повернул назад, чтобы залезть обратно в привычную клетку, но тут из дома высыпали люди и закричали на медведя дикими голосами. Тедди обернулся в испуге, ища среди всех этих людей знакомое лицо, но знакомых не было. Тедди стало страшно, и он побежал.

Он промчался мимо коновязи. Лошади, увидев его, шарахнулись, заржали. Тедди тоже рывкнул и надал ходу.

Он пробежал огородом, перемахнул через плетень и помчался полем к далекому лесу. Бежал он быстро, прижав уши, фыркая, испытывая острое незнакомое удоволь-

ствии. Добежав до первых кустов и запыхавшись, он остановился и с испугом посмотрел назад: станции не было видно, не было ни людей, ни машин, только голое поле и темнеющие вдали крыши.

Медведь затосковал, ему захотелось попасть опять в цирк, жить в темном коридоре, слушать по ночам храп вкусно пахнувшего сторожа. Назад идти он боялся и тихонько ворчал, приподнимаясь на задние лапы и раскачиваясь.

Потом он обернулся, посмотрел на лес, несколько раз фыркнул, чтобы прочистить нос, и понюхал. Пахло сладко смолой, грибами, и еще было много будоражащих запахов. Тедди пошел к лесу. Он медленно шел кустами и каждый раз, выйдя на чистое место, оглядывался в надежде увидеть служителя или человека в белых панталонах, которые ласково сказали бы ему: «Тедди!» Но никто не показывался, никто не звал его, было тихо, а из леса все более явно доносился могучий зов. И Тедди со смешанным чувством страха и любопытства вошел в лес.

3

Тедди не повезло. Он попал в часть леса, обжитую людьми. Здесь расположен был леспромхоз, большие площади были вырублены, то и дело бросались в глаза непонятные в лесу предметы: линия узкоколейки, обрывки тросов, масляные тряпки, изъезженные дороги, гулкие бревенчатые гати. Птиц и зверей почти не было в этом месте, а по ночам были слышны металлические удары, шум моторов, тонкие паровозные гудки.

Тедди было дико и непривычно в лесу, и он поначалу только и думал, как бы встретиться с людьми. Но в то же время что-то мешало ему идти навстречу звукам машин.

Все его раздражало, он не ел, почти не спал и сильно отощал. Несколько раз он принимался выделывать свои на

всю жизнь заученные фокусы в надежде, что кто-нибудь выйдет к нему и накормит.

Он делал стойку на передних лапах, дрыгал задними в воздухе, будто перекатывал в них шар, и так обходил поляну. Потом он кувыркался через голову, плясал, «умирал» и, оживая, очень довольный собой, оглядывался по сторонам, ожидая подачи. Но никто не радовался, не хвалил его, не появлялся волшебный суп-овсянка, и в маленьких глазках медведя появлялось тоскливое изумление.

Несколько раз он выходил к реке, глядел на плывущие по воде бревна, тосковал и снова уходил в лес.

4

Так прошло два дня и две ночи. На третью ночь Тедди вышел опять к реке и остановился пораженный: к берегу был причален большой плот с избушкой на середине. Светила яркая луна, на берегу стояли белые бараки с черными окнами, вокруг не было ни души и ни звука не было слышно, только между бревнами плота сонно журчала вода. Тедди привстал на задние лапы и повел носом. С плота от избушки невыносимо вкусно пахло ржаным хлебом и картошкой. Тедди облизнулся и закачался на задних лапах. Качаясь, он напряженно размышлял.

Идти туда, откуда пахло, он боялся, так как знал, что там люди. Но соблазн был так велик, что медведь, походив по берегу и попробовав лапой воду, остановился как раз напротив избушки. Ах, как замечательно пахло!

Плот был подогнан к берегу не вплотную, на берег были переброшены в одном месте сходни, но Тедди в нетерпении не обратил на них внимания, сунулся в воду и через мгновение уже взбирался на плот. Неуверенно ступая по бревнам, медведь подошел к избушке и обошел ее кругом. Изнутри доносился громкий храп. Тедди вспомнил циркового сторожа и приободрился. Он заглянул через окно

внутри, но ничего не увидел. Тогда он решительно отворил дверь и, протиснувшись в избушку, сразу сглотнул сладкую слюну – так вкусно пахло здесь портянками, хлебом и картошкой. Хлеб и картошка были на столе. Тедди подошел к столу, свалил с чугунок теплую запотевшую тарелку, опрокинул чугунок и зарычал, сейчас же начиная, торопясь и давясь, глотать хлеб.

– Эй! – окликнул вдруг его человек с нар, перестав храпеть. – Кто это? Ты, Федя?

Медведь присел от испуга, но потом разъярился, рявкнул и ударил лапой по столу. Чугунок и тарелка упали на пол. Тотчас что-то никак не похожее на человека свалилось с нар, на карачках юркнуло в дверь и побежало по плоту к берегу.

Через минуту, когда медведь доедал уже последний хлеб, на берегу послышался сильный шум. Нужно было уходить, но он еще не наелся, еще схватил с полу несколько картошек и потом не сразу попал в дверь. Когда же он вытиснулся из двери, то увидел близко много людей. Заметив медведя, люди разом закричали, как тогда на станции, а Тедди растерянно остановился: путь к берегу был ему отрезан.

Он сунулся было наискосок, надеясь проскочить краем плота, но наперерез ему блеснул длинный огонь и бахнул выстрел. Медведь испугался и завернул назад, вокруг избушки. Люди бежали за ним, окружая его полукольцом и прижимая к краю плота. Опять бахнуло сзади, ширкнуло по бревнам и отскочившей корой стегануло медведя по животу. Он рявкнул, прыгнул вперед и плюхнулся в воду, подняв столб серебристых в лунном свете брызг. Он никогда в жизни не плавал, окунулся с головой и, вынырнув, не знал сперва, что делать, но лапы его сами собой задвигались, он зашлепал ими что есть силы, вытягивая нос кверху, к звездам.

Вода мягко сносила его на низ, люди остались на плоту



и долго еще кричали, а медведь все сильнее двигал лапами, чихал, пыхтел и поднимал нос кверху.

Проплыв около получаса по теплой серебристой воде, он увидел вблизи лес – сплошной и черный. Это был уже не тот лес, из которого медведь недавно вышел. Это был лес без просек и вырубок и без человеческого жилья.

Почуввав дно под собою, Тедди тяжело выбрался на берег и остановился. Вода текла с его шубы ручьями. Оглянувшись, он увидел далеко наверху слабые огоньки и что-то еле белеющее в темноте и понял, что там остались люди, и бараки, и плот, и еще понял, что на том берегу было опасно и шумно, а здесь тихо и хорошо. Вспомнив выстрелы и оставшуюся в избушке на полу картошку, он поворожал немного, потом встряхнулся несколько раз и полез вверх по крутому обрыву навстречу огромным неподвижным соснам и елям.

5

Это был громадный лес, тянувшийся на десятки верст вверх и вниз по реке. Мало того: он уходил на восток до Уральского хребта и на север – до самой тундры. Лес взбирался на холмы, расступался иногда озерами или полями, на которых виднелись редкие деревни с двухэтажными избами.

Это была глухая сторона, мало посещаемая людьми, и здесь-то и было настоящее раздолье для всякого зверя и птицы.

Много тут было волков и лисиц, белок и зайцев, водились тут лоси и рыси с загадочным взглядом желтых глаз. Здесь попадались совершенно глухие места, где и пройти-то было невозможно, где валившиеся деревья так и оставались лежать годами, догнивая и оседая постепенно к земле.

Случались здесь пожары, возникавшие от неизвестных

причин, как бы сами собой. Огонь бушевал тогда на огромных пространствах, пожирая лес и траву, и тысячами гибли в нем звери. Огонь проходил косяками и затихал постепенно, тоже как бы сам собой, оставляя после себя черные уголья и пепел и редкие обгорелые стволы.

Скоро на гари начинала расти буйная красная жесткая трава, потом появлялись черника и брусника на кочках и молодые березки и сосенки. По краям показывались заросли шиповника и малины, и гарь уже не казалась диким и страшным для зверя местом, а становилась неисчерпаемой кладовой, в которой кормились сумрачные глухари, робкие рябчики, тетерева и зайцы. Лоси тоже приходили сюда и оставляли глубокие ямки следов в мягком беловатом мху.

Редко-редко раздавался в лесах этих выстрел, а когда раздавался, то долго и звонко раскатывался по холмам, вылетал на реку, отдавался от другого берега и возвращался уже ослабевшим и протяжным. Белки роняли тогда шишки и взлетали на верхушку дерева, чтобы оглянуться с безмерным любопытством; зайцы на лежках вставали столбиками; лоси, наставив уши, минуту слушали и беззвучно передвигались на другое место; рыси, дремлющие в чащобах, приоткрывали дремучие желтые глаза и нервно потряхивали кисточками на ушах; и только волки, лучше всех знакомые с человеком, бросали все, серыми тенями взбегали на ближний бугор и долго нюхали, стараясь и боясь одновременно поймать с ветерком запах человека.

6

Всю ночь шел Тедди на север, держась берега реки, как моряк держится компаса. Углубляться в лес он боялся: лес был полон неизвестности, тогда как река была знакома, она уже выручила его раз, и он ей доверял. Со всех сторон

подступали к нему звуки и запахи, в которых он должен был разобраться. Некоторые из них были ему хорошо знакомы. Два раза его путь пересекал след рыси, и он сразу вспомнил рысь из цирка, хоть та пахла резче: звери в неволе всегда пахнут сильнее. Потом он испугнул рябчиков, которые ночевали на низком суку большой елки, и сам сначала испугался, но быстро успокоился, поняв, что это всего-навсего птицы. Следы лисицы он тоже сразу узнал.

Но в конце концов обилие новых впечатлений так утомило медведя, что он выбрал сухое место в небольшом ложке, защищенном со всех сторон порослью елочек, лег и задремал до утра.

Странно, но этот большой зверь был совершенно беспомощным теперь в лесу. За долгие годы он отвык от леса и все перезабыл из того немногого, что успел узнать в детстве. Все инстинкты, которыми его наделила природа, уснули, и он терялся от самых незначительных причин, требующих какого-нибудь действия. Ему все время хотелось есть. Но служителя, который ежедневно кормил его в цирке, здесь не было, приходилось самому искать еду, а он не знал, как это делается, не знал, что можно есть.

Пожалуй, никто так не чувствует и не понимает, как дикие звери, что значит мать. Мать учит детеныша прятаться, драться, убегать, она объясняет ему, кто враг и кто друг. Она знает, где есть черника и муравьи, земляника, вкусные сочные коренья, мышинные норы, рыбы и лягушки. Она знает, где есть свежая вода, глухие места и солнечные поляны с мягкой высокой травой. Ей ведомы тайны запахов и перекочевков. И еще она знает, что ни один зверь в лесу не доживает до глубокой старости, каждого постигает страшная беда, и нужно быть очень ловким, смелым и осторожным, чтобы как можно дольше сохранить себя и оставить после себя потомство.

Если бы рос Тедди не в зоопарке, а потом в цирке, среди людей, если бы учителем жизни была для него медве-

дица, свирепая ко всему, но бесконечно добрая к нему, маленькому медвежонку, он сейчас был бы могучим зверем и знал все, что нужно и возможно знать дикому зверю. Но Тедди учился жизни у человека в белых панталонах, и звериный дух его был задавлен еще с детства. Он успел узнать много вещей, которые недоступны и страшны жителю леса. В городе он был несомненно опытнее, умнее любого своего сородича, но что стоили все его знания в мире, куда он теперь попал! В лесу он превратился опять в беспомощного, жалкого детеныша, ничего не знающего, боящегося всего на свете. Вся разница была в том только, что он был теперь не крошечным медвежонком, а крупным медведем с желтыми клыками и вытертым клеткой задом и что не было теперь с ним доброй и умной матери, которая могла бы его защитить и многому научить.

7

Тедди разбудили птицы. Маленькие, они едва слышно перепархивали в мокрых от росы ветвях. Далеко на востоке за холмами вставало солнце. Между соснами висел прозрачный туман, сверкала роса, воздух был свеж и чист, и Тедди, выйдя из своего ночного пристанища, заковылял дальше на север. У него от непривычки к лесным скитаниям уже второй день побаливали лапы, но он упрямо шел вперед, так как что-то еще не нравилось ему тут. Он не думал ни о чем, стремясь на север, как не думают птицы, сбиваясь в стаи перед отлетом. Инстинкт, коренившийся в нем, вел его в небывалую страну, где должно быть много солнца, много пищи, чистой воды и тишины.

В полдень медведь переходил солнечную поляну, когда ноздрей его коснулся необыкновенный запах, всколыхнувший в душе его целый рой воспоминаний. Но где же источник этого милого сладкого запаха? Тедди повернул на восток, прошел немного – запах исчез! Он вернул-

ся, обеспокоенный, взволнованный, назад – опять маняще запахло! Тогда Тедди стал кружить, и ему понадобилось порядочное время, чтобы отыскать муравейник. Запах, который он поймал, был запахом муравьев, и он сразу его узнал, хоть не слышал столько лет.

Тедди сунул нос в муравейник и даже хрюкнул от наслаждения – так крепок был вблизи этот чудесный запах. Еще глубже зарылся он носом и зачавкал, прижмурившись, высовывая и убирая мокрый язык. Крупные рыжие муравьи мгновенно злым покровом облепили его морду, полезли в уши, но Тедди только мотал головой, поджимал хвост и еще усиленной чавкал. Наконец ему стало невмоготу, и он сел на задние лапы, чтобы перевести дух. В ту же минуту он вспомнил что-то давно забытое и стал разрывать муравейник лапой.



Сейчас же муравьи облепили лапу, и ему оставалось только слизывать их. Это было несравненно удобнее – му-

равьи больше не лезли в нос, в уши, в пасть не попадала земля и хвоя, и Тедди отошел только тогда, когда от муравейника не осталось ничего. Разорив муравейник, Тедди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, поросший сухим еловым лесом с голыми вершинами, прошел оврагом, наткнулся на малинник и не вышел уже из него до самого вечера.

Поначалу Тедди пугали взлеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, шум леса, треск проходящих мимо лосей. Его пугали незнакомые странные запахи, резкие и чуть слышные. Но он без конца исследовал все звуки и запахи, чтобы, встретив их в другой раз, уже идти им навстречу, или уходить, или вообще не обращать внимания.

В его теперешней жизни было одно счастливое обстоятельство, о котором он сначала не догадывался: ему не нужно было никого бояться. Ему не страшны были ни волки, ни рыси, ни крошечные куницы – все те ужасные существа, от которых плохо приходится мелкому зверю и птице. Его никто не трогал, и не нужно было ему ни прятаться, ни убегать, чувствуя за собой легкий и страшный топот погони. Наоборот, его все боялись, так как здесь, в лесу, он, сам того не подозревая, был самым крупным и опасным зверем.

Понял он это значительно позже, когда однажды наткнулся на труп павшего лосенка, который терзали два крупных волка. Увидев волков, медведь растерянно остановился. Волки заворчали злобно и бессильно и сейчас же отошли, уступив место медведю. И все время, пока Тедди наслаждался лосенком, волки кружили рядом, но не осмеливались подойти. Радостное сознание своего могущества пробудилось тогда в нем, и, даже наевшись до отвала, он несколько раз возвращался и каждый раз с удовольствием видел, как при его появлении отскакивали от падали волки.

Останавливаясь в одних местах на день, в других – на два, Тедди все дальше продвигался на север. Сосны становились выше и толще; малины, земляники и брусники было больше, деревень – меньше. Безбрежная дикая красота, нетронутая глушь и тишина простирались вокруг, и, казалось бы, что еще нужно! Но от забытого почти детства у Тедди остались воспоминания настолько неясно прекрасные, что ему все было не так и не то – он стремился в какую-то свою страну, в какой-то свой, медвежий рай.

Найдя особенно хорошее, с его точки зрения, место, Тедди начинал свой обход. Он выдергивал старые, трухлявые пни, разорял мышьиные и беличьи гнезда, переворачивал заросшие сухим белым мхом камни, искал слизняков и червей.

За две недели Тедди многому научился. Он стал спать всегда головой в ту сторону, откуда пришел; он узнал, что, помимо ягод и кореньев, очень вкусны грибы. Теперь Тедди не жевал без разбору все, что попадет, как в первые дни; он узнал, что самые сочные коренья растут в сырых местах; он стал пить только чистую проточную воду и научился пользоваться ветром; чутье его стало лучше, и Тедди уже мог ощущать очень тонкие или старые запахи; и он узнал еще на горьком опыте, что не все в лесу съедобно, что есть ягоды и грибы, которые лучше не трогать.

Он окреп, стал меньше уставать, и подошвы лап, так болевшие в первые дни, теперь загрубели, а когти, которые подрезали в цирке, отросли. Ходить он стал тихо, почти неслышно. Только увлекаясь, начинал ломать все, что попадалось на пути, и тогда треск шел по всему лесу.

Сперва Тедди спал ночью, как привык в цирке. Но потом заметил, что ночью жизнь в лесу куда интересней, чем днем. Следы бродивших ночью куниц, зайцев, лисиц были свежее, что-то шевелилось в траве, возилось в кустах, кто-

то перебегал по оврагам и полянам, странные крики рождались в тишине... Кроме того, ночью исчезали все мухи и слепни, которые так досаждали Тедди днем. И он все чаще стал бродить ночью, а днем спать в тайных местах.

9

Однажды Тедди набрел на небольшое овсяное поле в стороне от селений, в лесу, возле старой, заброшенной дороги. Тедди прошел краем поляны. Овсяные метелки слабо щекотали его, и это было приятно. Обойдя поле и не найдя ничего интересного для себя, он ушел, но спустя короткое время вернулся, вошел уже в самый овес, лег там, в этом мягком и светлом под луной островке, и стал хватать метелки пастью. Так он узнал вкус овса, который чем-то напоминал ему почти позабытый суп-овсянку. Сначала с жадностью он ел все подряд – и овес и стебли, – потом стал жевать и сосать только метелки и с рассветом ушел, вытоптав в овсе большую плешину.

Ему очень понравился овес, и через день он опять пришел и пировал всю ночь. Он бы пришел еще и на следующую ночь, но отвлекся, попав на небольшое болотце и распугав десятка три лягушек, которых и ловил очень долго, весь перемазался и целое утро потом отчищался.

Тедди не знал, что в это утро проезжали по старой дороге люди в телеге, долго осматривали поле, ругались и уехали, а к вечеру снова приехали с топорами и досками, некоторое время стараясь не стучать громко, мастерили что-то на старой и, видимо, очень удобной для них сосне. Потом люди отошли в сторону, покурили, роняя искры в траву, достали ружья из телеги, и двое полезли на сосну, а третий укатил обратно. Под телегой брэнчало ведро, уехавший запел песню, и песня и брэнчание ведра долго еще слышались оставшимся.

Луна успела взойти над лесом, когда проснулся Тедди.

Он долго лежал в совершенной тишине, поворачивая только голову и внюхиваясь. Потом встал, зевнул, потянулся и, вспомнив об овсе, направился к полю своим неторопливым, раскачивающимся шагом. Иногда он останавливался, привлеченный каким-нибудь запахом, совал нос в траву, выдирал сладкий корешок и чавкал – есть тихо он не умел.

Он вышел уже почти к самому полю и мог даже разглядеть сквозь частый осинник белеющую полосу овса с темным пятном посередине – местом, где он пировал две ночи. Ему нужно было продвинуться каких-нибудь десять – пятнадцать шагов, как вдруг он остановился.

Нет, он ничего не услышал и не почувствовал, но точно какая-то тень мелькнула ему, слабый намек на что-то. Инстинкт предостерег его: что-то здесь изменилось за время, пока его не было.

Тедди повернул направо, обходя лесом поле и не теряя из виду слабо сиявшей полоски овса. Шерсть на хребте у него поднялась дыбом, но он не зарычал по своему обыкновению: что-то говорило ему, что лучше не рычать. Поле было пустынно, и все кругом неподвижно. Едва слышный ветерок пришел откуда-то и почти не качнул травы – так он был слаб, но запах овса усилился, и нос Тедди стал сразу еще более мокрым и холодным.

Но Тедди не облизнулся, не раскрыл пасти, он молча проглотил слюну и вышел на светлую дорогу, которую пересекали резкие черные тени от деревьев. Улегшаяся было шерсть на загривке тотчас поднялась: в нос ему ударил слабый, но острый запах дегтя, лошади, табака и людей. Он остановился и долго нюхал. Наконец он понял, что были люди, постояли здесь, покурили и уехали. Несколько смелее он прошел еще вдоль дороги, опять перешел ее и очутился теперь с другой стороны поля.

Он уже твердо знал, что люди, бывшие здесь вечером, уехали, но – странно! – чувство опасности не покидало его

и шерсть на загривке не опускалась. Он хотел уйти совсем от места, которое внушало ему такой страх, ибо все неизвестное страшно, и повернул было в лес, но потом вернулся, сделав небольшой крюк.

У Тедди не было матери, и никто не мог его научить, что нужно немедленно уходить от непонятного. Поэтому, вернувшись, он долго стоял в тени елок, и запах, вкусный, нежный запах овса, заглушая чувство страха, тянул его к себе, убаюкивал, лишал осторожности.

Медведь мало-помалу совсем вышел из тени и потянулся уже к метелкам, но в этот миг что-то щелкнуло звонко и шевельнулось где-то вверху и в стороне. Не успел Тедди ни отпрыгнуть, ни поднять голову, как сверкнула вспышка, грохнул с раскатом страшный в ночной тишине выстрел, что-то горячее ударило медведя по передней левой лапе, подшибло ее, и Тедди упал.



Еще когда щелкнуло, Тедди уже понял, что попался, что нужно бежать, и поэтому, как ни разъярен он был в

этот миг, вскочив, бросился в спасительный сумрачный лес. Он бросился и побежал так быстро, как только мог, но, к удивлению своему, на втором прыжке снова упал, а вслед ему сверху, с корявой сосны, прогремели еще два выстрела, пронзительно прожужжало и хрястнуло совсем рядом и даже как бы впереди.

Но не выстрелы и хряск испугали его теперь, а то, что он не мог бежать и упал. Он опять вскочил и прыгнул прочь от овсяного поля, и опять что-то непонятное и страшное случилось с ним, и он сунулся мордой в землю. Тут только понял Тедди, что передней лапы его как бы не существует, она онемела, не двигалась, и на нее нельзя было становиться. Тогда он перенес тяжесть тела на другую лапу и побежал все быстрее, быстрее, с ужасным треском, не разбирая дороги, фыркая от ужаса, колыхаясь на ходу, оступаясь, припадая на грудь, – прочь отсюда!

Он долго бежал, и все ему казалось, что сзади трещит и нагоняет его, и он прибавлял ходу, выбиваясь из сил, и наконец, когда совсем отчаялся бежать, остановился, зарычал и обернулся, чтобы встретить врага. Он прорычал и присел, прижав уши, поджав теперь уже нестерпимо болевшую лапу. Глаза его горели, бока вздымались, вся шерсть на хребте и боках торчала от страха и ярости. За шумом своего дыхания он не слышал ничего и, чтобы послушать, перестал дышать. Ничего не услышав и не поверив тишине, подумав, что враг затаился, Тедди опять прорычал, повернулся и стал уходить, все время оглядываясь.

Но никто за ним не гнался, лес притих, испуганный его ревом, и не было слышно ни звука. На ходу Тедди стал лизать лапу. Теплая кровь возбуждала его, боль немного утихла, и он все усердней лизал, находя в этом какое-то странное удовольствие.

И это спасло его. Дождавшись рассвета, охотники с ружьями наготове пошли по кровавому следу и разгадали все: как он мчался, ломая кусты, взрывая когтями землю и

брызгая кровью на траву. Они догадались также, что он сидел, оборотясь к ним, – здесь было особенно много крови, трава примялась и слиплась. Но потом следы стали легче, кровь попадалась реже и скоро совсем пропала, и охотники, потеряв след и облазив все ближние овраги, вернулись к себе в деревню ни с чем.

10

А Тедди в это время лежал далеко в сухом острове мрачного леса и страдал. Лапа его распухла и болела, и целый день он не мог тронуться с места.

Пришла ночь, но боль в лапе не давала ему заснуть. Кроме того, какая-то новая тревога овладела им, но он ничего не мог поделать и только усиленно внюхивался, стараясь угадать причину этой тревоги. Лес внезапно притих, все затаилось, не слышать было ни малейшего звука, и эта мертвая тишина все сильнее угнетала и настораживала медведя.

По лесу пронеслось что-то тревожное, и стало душно. Сначала редко, потом все чаще и чаще, опоясывая полгоризонта, запылали зарницы. Они вспыхивали беззвучно и таинственно и не видны были из густоты леса, только верхушки сосен освещались бледным, призрачным светом. Потом потихоньку, очень далеко, стал порывивать гром. Тедди отвечал ему угрюмым ворчанием и беспокойно ворочался под своей елью. Оттого, что кругом стояла такая зловещая тишина и что издали все явственнее, почти беспрерывно доносились громовые раскаты, ему все больше хотелось спрятаться куда-нибудь и притаиться. Но спрятаться было негде, и он только крепче прижимался к дереву.

Гроза чрезвычайно быстро надвинулась, звезды в просветах деревьев задернуло чернотой, тьму разрезали белые молнии, ударяя куда-то в соседние холмы, что-то лопалось

и грохотало резко и страшно! Тах! Агррррр-бах! – будто кашляло.

Упал с облаков верхний ветер, вершины сосен и елей ответили ему шипением, а внизу было тихо и ничто не шевелилось. Ветер промчался, и почти сразу же вслед за ним пошел дождь. Это не был обыкновенный дождь, который робко шуршит по листьям и который был знаком Тедди, – этот дождь обрушился на лес сразу, наполнил его гулом падающей воды, и, кроме этого гула, уже не было слышно ничего, только гром часто покрывал все торжествующим ревом.

К утру гроза прошла, и тогда весь лес, пронизанный солнцем, загорелся. Сверкающие капли падали с верхних веток на нижние, оттуда на траву, и все капли выпивала земля, а в лесу все утро стоял живой шорох.

Измученный болью, страхом перед грозой и людьми, не спавший, мокрый и несчастный, Тедди сидел под старой елью и не мог радоваться солнцу, не мог из-за боли даже подумать о том, чтобы пойти куда-то и поискать себе пищи. Так он лежал, беспомощный, одинокий, день и другую ночь и еще день, пока наконец рана не стала немного заживать и свирепый голод не выгнал его из укромного места.

Кое-как ковыляя на трех лапах, хмурый и осторожный, он бродил по холмам, и все кусты, сухие ветки, корни или просто высокая жесткая трава, цеплявшиеся за больную лапу, приводили его в ярость. Но прошло еще несколько дней – медведь начал уже осторожно ступать на нее, и постепенно мрачные мысли покинули его, он опять повеселел и приободрился.

Однажды он шел своей неторопливой иноходью близ берега реки. Была теплая ночь, и попадалось особенно много малины, но Тедди был раздражен. Перед этим он гонялся за одуревшим со сна тетеревом. Тетерев бестолково хлопал крыльями, совался под кусты, ударялся о де-

ревья, падал, и Тедди несколько раз чуть не схватил его, но тетерев все-таки взлетел на березу, и Тедди не смог достать его. Теперь он был зол.

Спустившись в овраг, медведь напился из ручья, поднялся на другую сторону и вдруг почувал запах дыма и услышал человеческие голоса. Потихоньку он пошел на дым и скоро вышел к поляне, на которой ярко горел костер, стояли две палатки и паслись стреноженные лошади. Это была научная экспедиция, но Тедди, конечно, не знал этого и в величайшем изумлении присел, чтобы получше все рассмотреть. Около костра сидели и двигались люди. Они громко разговаривали, смеялись, и от них на деревьях шевелились большие тени.

Тедди прошел краем поляны, потом подошел ближе к палаткам и вдруг неожиданно для себя пришел в ярость и зарычал. Тотчас испуганно захрапели лошади и сбились в кучу, а из-за палаток выскочила собака, большими прыжками помчалась к Тедди, но, не добежав шагов десяти, остановилась с разбегу и залаяла злобно и трусливо.

Тедди немного отошел и попытался подойти к палаткам с другой стороны, но опять ему навстречу кинулась собака. Люди у костра вскочили, двое нырнули в палатку и выбежали оттуда с ружьями. Как только Тедди заметил красноватые отблески на стволах ружей, он повернулся и бросился наутек. Собака бежала за ним не отставая, в восторге от победы и от погони. Промчавшись опушкой, Тедди завернул к болоту, потом разъярился и оборотился к собаке. Собака сейчас же замолчала и понеслась во весь дух к палаткам. Тедди хотел пойти и разорить лагерь, но вспомнил о ружьях, подался к реке и занялся поисками пищи.

Уже около двухсот километров прошел медведь к северу, нигде подолгу не задерживаясь. Теперь он не был беспомощным, как в первые дни. Запахи открылись ему, и все реже он удивлялся чему-нибудь.

Он узнал, что нужно во всех случаях доверять сойкам и сорокам. Он научился угадывать причину того или иного крика желны, а если замечал издали, что, сидя на верхушке дерева, ворона чистит клюв, а чуть пониже ее, опустив хвост, сидят неподвижные сороки и смотрят вниз, он немедленно направлялся туда, даже не справляясь с чутьем, так как знал, что там, где есть сытые вороны, всегда найдется чем поживиться. Он не особенно хорошо лазил по деревьям, но, если встречал удобную разлапистую сосну, никогда не пропускал случая взобраться и оглядеть внимательно окрестности с верхушки дерева.

Узнав за короткий срок столько, сколько не узнать ему было за всю жизнь в городе, став сильным и осторожным, он превратился, как это могло показаться со стороны, в настоящего дикого зверя. Но это было не совсем так.

Раз утром, подойдя к ручью напиться, Тедди остановился как громом пораженный: возле ручья пахло медведем! Это был старый запах, быть может, дня два прошло с тех пор, как другой побывал здесь. Но этот слабый запах таил в себе такую угрозу, что Тедди, позабыв о жажде, долго осматривался, и шерсть на хребте у него никак не могла опуститься. Выходило, что не он один царствовал в лесах, был другой, и теперь этого другого следовало опасаться. С этого дня для Тедди не стало покоя.

Все чаще начал он наткаться на разоренные муравейники, обсосанную и поломанную малину, на объединенные брусничные кочки. Когда же, издали поймав запах падали, Тедди приходил на место, то оказывалось, что другой уже побывал здесь и от падали оставил действительно только запах. Теперь в лесу всюду пахло чужим медведем, и запах этот приводил Тедди в бешенство. Злоба его, накапливаясь, стала такой острой и постоянной, что для него скоро сделалось ясно: двоим в этом краю не ужиться, одному нужно уйти. Если бы тут было плохо, Тедди не задумываясь ушел бы. Но здесь было так хорошо, так много пищи,

что Тедди решил прогнать врага и стал искать встречи с ним. Иногда он встречал свежие следы, чаще натыкался на старые, но увидеть самого медведя никак не удавалось.

Встреча их произошла неожиданно. Тедди выбирал утром место, где бы залечь на весь день, и переходил крошечную полянку меж сосен, поросшую сухим белым мхом, когда в нос ему ударил внезапно противный близкий медвежий запах. Подняв голову, Тедди посмотрел по направлению запаха и увидел наконец своего врага. Ах, как он покажет сейчас этому наглецу! Как он расправится с ним! Враг его скрылся на мгновение за соснами и вышел на поляну...

Это был такой зверь-громадина, что Тедди замер, как кролик. Только секунду назад, озлобленный, жаждущий схватки, он был диким зверем. Но что значила его дикость по сравнению с дикостью врага! Это был настоящий зверь, косматый, бородатый, с железными когтями, горой мускулов и таким свирепым взглядом, что Тедди, тоже крупный зверь, оцепенел от ужаса.

Медведь стоял, низко опустив голову, и казался от этого горбатым. Он стоял молча и в упор смотрел на Тедди. И еще не было произнесено ни звука, не было сделано ни движения, а Тедди уже понял, что именно он должен покинуть навсегда этот прекрасный край. Разве мог он хотя бы помыслить о соперничестве с этой громадиной!

И то, что понял Тедди, в ту же секунду понял и медведь. Мало того – он понял также, что и Тедди это понял. Нет, он не бросился на Тедди, чтобы убить его, он только негромко зарычал. И рев его был на целую октаву ниже самого низкого рева Тедди. Человеку звериный рев всегда кажется одинаковым, его ухо неспособно различить тончайшие оттенки в рычании. Тедди же сразу понял, чего хочет медведь. Его рев, негромкий, даже несколько презрительный, означал короткое: «Пошел вон!» Ослушаться этого приказа значило для Тедди упасть через минуту на



белый сухой мох с переломленной шеей и разорванной грудью.

И Тедди не издал ни звука в ответ. Он повернулся и быстро пошел прочь. Уже почти скрывшись в лесу, он последний раз оглянулся. Медведь стоял все так же неподвижно и казался горбатым стогом на фоне частых сосновых стволов.

Тедди ушел навсегда из этого обильного края рыжих муравьев и красной брусники, ушел, чтобы не встречаться на дороге бородатому властелину. Он оказался слабейшим в борьбе за жизнь и проиграл, причем с полным основанием мог считать, что хорошо отделался.

11

Листья совсем почти облетели с берез и осин, лежали на земле толстым шуршащим ковром, птицы сбивались в стаи, малина кончилась, пошли обильные грибы и начались первые утренние заморозки, когда Тедди, перевалив через множество холмов и сбившись вправо от большой реки, вдоль ее притока, вышел как-то утром на широкую поляну.

Внизу бежал ручей, тихонько гудели огромные сосны, доцветали последние ромашки, жадно глядящие на бессильное солнце. Берег ручья во многих местах состоял из мягкого золотистого песка со следами пурхавшихся в нем тетеревов. Мелодично и бесконечно динькала вода, и Тедди, остановившийся на поляне, понял вдруг, что нашел землю обетованную и наконец-то пришел в страну своего детства. Больше его никуда не манило, никуда не хотелось идти, путешествие его было окончено.

Нет, нет, это не была его родина! Но здесь все было точно так, как было давным-давно, когда Тедди еще не имел имени, а был просто маленьким глупым медвежонком, когда он обедался муравьями и земляникой и мать

полоскала его в ручье, держа за шиворот, а потом длинным розовым языком крепко растирала его надувшийся живот. То были прекрасные, невыразимо счастливые дни, и сейчас Тедди как бы вновь вернулся туда...

Но это было, конечно, не так. Нет, детство затерялось где-то в смутной дымке времени, не вернется, не придет, не вспыхнет солнечным блеском и зеленой травой. Стать бы ему опять маленьким, найти бы ему свою мать, угреться бы под ее мягким, теплым боком! Как жаль, что это невозможно...

Передвигаясь днем и ночью, Тедди постепенно обходил этот край, отмечая для себя границы своих владений. Он исследовал ручьи, болота, овраги, потные луга, опушки и глухие места. Он встречал в изобилии следы волков, лосей, белок, выдры, зайцев. К одним он относился равнодушно, другие раздражали его, и он принимался копать и разбрасывать землю или обдирать кору, чтобы заявить свое право на землю и лес и даже на самый воздух.

Глухари и тетерева, взметая сухие листья, с крепким звуком взлетали у него из-под носа, но теперь ничто не удивляло его, и он принимал все как должное и давно знакомое. Он не внюхивался больше с беспокойством и любопытством в след, оставленный каким-нибудь животным. Он просто мимоходом отмечал для себя: «Вот здесь прошли лоси. Их было три». Или: «Пробегала лиса. Она очень торопилась и несла в зубах куропатку».

Шуба его приняла оттенок ореха, отросла и стала пушистой и блестящей. Лапа больше не болела, и он теперь пускал ее в ход, когда нужно было вывернуть пенек или перевернуть упавшее тяжелое дерево. Он очень много ходил, подгоняемый страшным аппетитом. Но здесь всего было вдоволь, и он часто испытывал наслаждение, чувствуя себя, как никогда, свободным и сильным.

Великая вещь свобода!

Можно встать когда хочешь и идти куда глаза глядят!

Можно остановиться и долго провожать взглядом пролетающий над рекой караван гусей; можно подняться на холм, открытый всем ветрам; там слышны все запахи – выбери для себя любой, иди туда, куда он зовет тебя!

Можно забраться в чащу, где так много сухих деревьев, дуплистых и изъеденных червем, и, наслаждаясь своей могучей, свободной силой, валить эти деревья – сухие, мертвые, они будут падать с таким жалким треском!

12

Пришел ноябрь – месяц крепких заморозков, – и начался осенний гон лосей. Бродя по холмам, Тедди с раздражением прислушивался к их реву. Несколько раз он видел издали лося-великана с большими рогами. Тот, потеряв всякую осторожность, ходил по мелколесью, взбирался на сухие гривы, храпел и почти безостановочно трубил. Медведю все меньше нравилось это шумное соседство. Тедди, зверь осторожный, иногда забывался и шумел, но постороннего шума терпеть не мог и скоро возненавидел лося, как когда-то возненавидел медведя.

Однажды он наткнулся на свежие следы лосей и тотчас понял, что это давешний великан с лосихами. В этот день Тедди был особенно зол, желание прогнать нахала сразу охватило его. С яростью разбросал он лосиный помет и быстро пустился по следу. Поднявшись на гриву, он потерял след, опять спустился, сделал большой полукруг и снова почуял лосей. Скоро он увидел их. Они кормились в реденьком осиннике, дотягиваясь бархатными губами до самых нежных веток.

Тедди рывкнул и полез к ним. Лосихи шарахнулись и помчались вниз громадными прыжками, а лось-самец неожиданно захрапел и двинулся навстречу медведю. Конечно, в другое время он не задумываясь последовал бы за лосихами. Теперь же, после многих побед, он смело пошел

навстречу врагу, и они сошлись на поляне. Тедди сердито заревел. Лось ответил храпом с придыханиями. Вся кожа его дрожала от жажды боя, глаза налились кровью, ноздри трепетали, и легкий парок от дыхания сносило ветерком. Он был в самом расцвете сил, с огромными лопастями рогов, мощной шеей и легким вислым задом.

Тедди, не ожидавший такой встречи, опешил. Он не испугался, он только приостановился, раздумывая, как бы удобнее броситься.

Но лось, по-своему истолковавший эту заминку, вдруг нагнул голову, всхрипнул и кинулся на медведя. Тедди не успел отскочить, и удар сбил его с ног. Тотчас лось поднялся на дыбы, и тут, может быть, и закончилась бы жизнь Тедди, попади ему лось по голове. Но лось не попал в голову, как метил, а попал по плечу. Крепка медвежья кость, выдержала, не сломалась, но где уж теперь драться, только бы живым уйти!

Увидев, что не попал, как хотел, лось опять вскинулся, но Тедди откатился, и лось на этот раз вовсе промахнулся. Тогда лось нагнул голову и ринулся, как в первый раз. Тедди увильнул и отскочил за куст, а лось не мог сразу остановиться. Когда же он повернул за медведем, тот, хромая, что было сил улепетывал вниз.

Победа, небывалая победа досталась красавцу лосю, но ему теперь мало было этого, ему хотелось уничтожить врага или прогнать его далеко. И он помчался следом, легко догнал и еще несколько раз успел ударить на ходу. Потом, будто что-то вспомнив, вдруг остановился и, фыркая, вернулся назад, к лосихам. А несчастный Тедди, весь избитый, забрался в густейший бурелом и долго стонал и сопел, переживая позор своего поражения. Недавно его прогнал бородатый медведь, теперь выживает лось... Хуже всего было то, что ему теперь нужно было опасаться вообще всех лосей: раз его побил лось, значит, может побить и другой... Жизнь его с этого дня стала несносной. Как

назло, следы лосей попадались ему все время. Шел ли он за брусникой, или к муравейнику, или к ручью напиться, — встретив следы, он тотчас сворачивал и уходил.

Но безвыходное положение продолжалось недолго. В нем вдруг проснулись все его дикие предки и свирепо требовали, чтобы он нашел врага и убил его. Он стал кружить по лесу, выслеживая лося, яростно драл когтями землю и деревья, заявляя о своем владычестве, устраивал засады, в которых на долгие часы замирал совершенно неподвижно. Один раз, найдя много свежих лосиных следов у ручья, он залег в кусты и стал ждать.

Он лежал, прикинув к земле, и смотрел меж веток на тропу. Всюду толстым слоем лежали сырые желтые листья. Деревья были голые, и густые темные елки особенно явственно выступали в поредевшем, полупрозрачном лесу. Утром хватил заморозок, но теперь оттаяло. День был хмурый, холодный.

Во второй половине дня наверху послышался легкий хруст и пофыркивание. Тедди поднял голову и потянул воздух: пахло лосями. Уши его прижались, шерсть на загривке поднялась. Он прижался к земле и подобрал под живот задние лапы. Раза два лоси останавливались. Что они делали — прислушивались или срывали ветки какие-нибудь, — этого Тедди не знал, он терпеливо лежал. Наконец из-за кустов показались рога, а потом и сам лось. За ним шли три лосихи. Они остановились, внимательно посмотрели вниз, прядая ушами, потом стали спускаться к водопою: впереди лось, за ним — лосихи.

Все-таки лось зачуял медведя и сразу стал как вкопанный. Тедди выскочил из засады с глухим ревом. Лось всхрапнул и бросился на медведя. Тот успел отскочить и цапнуть лапой лося за бок. Удар когтистой лапы был, казалось, легким, мимолетным, но кожа на боку была сразу сорвана, и показалась кровь. Почувяв запах крови, Тедди озверел. Впервые в жизни захотелось ему рвать живое мя-

со, услышать предсмертный хрип жертвы. Лось между тем повернулся и опять бросился. Медведь был тяжел, но ударом мощных рогов лось отбросил его, как котенка.

Тедди покатился, как в прошлый раз, но теперь на шее лося закровенилась новая рана. Тедди вскочил и издал свой самый великий рев, всколыхнувший все его тело, и прыгнул на лося, норовя наброситься сбоку, так как понял, что рога – такое оружие, против которого он бессилен.

Они продолжали биться, вырывая жухлую мокрую траву и землю, ломая все вокруг себя, но лось явно слабел. Кровь брызгала у него из многих ран, и на холоде он весь дымился. Наконец Тедди удалось прыгнуть на него сбоку. Он вцепился в мощный загривок, одновременно задними лапами раздирая лосю бок. Затем, держась левой лапой и зубами за загривок и рыча сквозь стиснутые зубы, Тедди с силой ударил правой лося по шее и еще потянул вниз, разрывая позвонки, и лось повалился. Медведь разодрал ему грудь, но и с разорванной грудью и сломанной шеей лось еще пытался подняться и сбросить медведя – так он был силен! Урча и кашляя, глотал Тедди кровь мертвого уже врага и не скоро опомнился.

Потом медведь, поминутно рыча, ушел в лес, но вернулся и попытался утешить лося. Тащить было тяжело и неловко, тогда он стал заваливать лося валежником. Закидав кое-как мертвого врага и изрыв вокруг землю, он ушел окончательно. Его никто не учил этому, и прежде он никогда не делал этого, но теперь он знал, что так надо.

Через два дня, уже забыв про лося, Тедди случайно проходил мимо, когда ветер донес до него сладковатый запах. Он тотчас вспомнил все, пришел и наелся. Еще раньше у лося побывали волки – Тедди узнал это по следам, оставленным ими, и поэтому никуда не ушел, а уснул поблизости.

Целую неделю он приходил к лосю и спал тут же, чувствуя, что теперь он властелин всего, что вокруг, и что его



территория так же неприкосновенна, как территория бордатого медведя.

13

Но прошло какое-то время, и в последний раз, как застарелая рана, Тедди охватила тоска по человеку. Сила, еще более могучая, чем инстинкт, погнала его вдруг из леса. И он точно так же, как недавно искал уединения и свободы, теперь стал искать встречи с человеком.

Четыре дня шел он к юго-востоку, пока наконец не вышел на открытое место. Перед ним был огромный пологий холм. На холме ярко зеленела озимь, а около опушки, где остановился Тедди, лежал тракт, часто катили автомашины или медленно проезжали на телеге.

Тедди стоял на опушке, приподнявшись на задних лапах, и раскачивался в тоске по человеку. Но ему не просто был нужен человек, а только могучий человек в белых панталонах. Ему нужно было, чтобы тот подошел и почесал бы ему за ухом и сказал ласково: «Тедди!» – и положил бы своей крепкой рукой кусок сахара ему в пасть.

И так долго стоял медведь, совсем не прежний Тедди, как бы вновь постигая великий, таинственный смысл жизни и одновременно навсегда уже прощаясь с прошлым. Он не вышел на дорогу к людям и не выкинул ни одной из тех уморительных штук, которым научился в цирке. Он безмолвно тосковал. Потом как будто повернулось что-то в нем, будто свалилась с него последняя тяжесть, последняя нить, связывавшая его с людьми, порвалась, и он ушел обратно в лес. Через четыре дня он был снова у себя.

Становилось холоднее с каждым днем. Тедди теперь спал много и ходил редко. По утрам маленькие озера и старицы затягивались звонким ледком. Голод, всегдашний руководитель Тедди, отступал вдруг на задний план, что-то другое все сильнее беспокоило его. В цирке Тедди не

давали спать зимой – он должен был выступать. Но здесь он подчинялся лесным законам, законам природы.

Он хотел спать. Он все ходил, словно примериваясь, но все казалось ему то неудобно, то открыто.

Однажды ночью выпал снег, и утром было бело, далекие холмы просвечивали, как сквозь дымку, и Тедди еще сильнее захотелось спать. Даже собственные следы на снегу не удивили его.

Раз он устроился под елкой на сухих листьях и проспал три дня, но потом проснулся и снова побрел куда-то, с тоской поглядывая на оживленных, черных на белом снегу ворон.

Наконец он нашел то, что было ему нужно. Это была глубокая яма, засыпанная палым листом и хвоей. Сверху она заросла кустами; кроме того, на нее как раз повалилась спиленная ель. Ель когда-то спилил человек, отпилил себе верхушку, а комель оставил. Хвоя с лап осыпалась в яму, но лапы и без того были так густы, что, когда Тедди забрался под них, он почти не увидел неба. Но ему все было нехорошо. Он опять вылез, стал таскать и наваливать сушняку сверху и только к вечеру залез внутрь. Там он ворочался долго, никак не мог лечь, чтобы было удобно, наконец улегся, и ему показалось, что хорошо, и он начал вылизываться.

Понемногу темнело, шел неслышный снег, и, когда совсем стемнело и снег на вершинах сосен потерял свои последние краски, Тедди уснул.

Что снилось ему?

Снился ли цирк и долгая жизнь артиста, разделенная как бы надвое темнотой коридора и ослепительным светом манежа? Снились ли переезды, вагоны, стук колес, запахи угля и бензина, люди, смеющиеся и яростно кричащие, и человек в белых панталонах?

Или снилась новая, свободная жизнь, сладкие муравьи, звенящие холодные ручьи, страшная гроза, выстрелы,

медведь, прогнавший его, битва с лосем?

Снилось ли ему детство? Прилетали ли к нему в берлогу нежные, зовущие, мудрые запахи леса?

Кто знает!

Он не проснулся ни на другой день, ни на третий... Снег все сыпал, и с каждым днем пушистей становились кусты, непролазней тропы, белее сосны и ели, и только березы оставались голые, и на них подолгу засиживались вечерами тетерева. Ударили лютые морозы, и пошла гулять по лесам настоящая зима!

А сон Тедди становился все глубже, дыхание было все реже, пар уже не клубился над ямой, и скоро заваленную снегом берлогу можно было угадать только случайно, по небольшой отдушине-жерлу и желтоватому инею на сучьях.



СОДЕРЖАНИЕ

И. Тургенев

Бежин луг

М. Твен

Укрощение велосипеда

(Перевод Н. Дарузес)

А. Чехов

Хамелеон

О. Генри

Джимми Хейз и Мьюриэл

(Перевод М. Лорие)

А. Куприн

Изумруд

Л. Андреев

Петька на даче

Д. Лондон

Сказание о Кише

(Перевод Н. Георгиевской)

А. Толстой

Рассказ о капитане Гаттерасе,

о Мите Стрельникове, о хулигане

Ваське Табуреткине и злом коте Хаме

Ю. Казаков

Тедди



Серия «Школьная библиотека»

**ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
(ДЛЯ 6-ГО КЛАССА)**

Для среднего школьного возраста

Составитель

Юдаева Марина Владимировна

Художник

Черноглазов Владимир Юрьевич

Главный редактор А. Алир

Технический редактор М.В.Юдаева

Компьютерная вёрстка Д.А.Володин

Корректор Л.М.Агафонова

Ответственный за выпуск А.В.Сенюшов

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.60.953.Д.010007.08.09 от 25.08.2009

Подписано в печать 15.12.2009. Формат 60х90 ¹/₁₆.

Бумага офсетная №1. Печать офсетная.

Усл. п.л. 9. Гарнитура «Ньютон».

Тираж 20 000 экз. Заказ № 166.

Издательство «Самовар»

125047, Москва, ул. Александра Невского, д.1.

Информация о книгах на сайте www.knigi.ru

Оптовая продажа: ООО «Атберг 98»

(495) 925-51-39 www.atberg.aha.ru

Интернет-магазин:

(495) 687-27-19 www.books-land.ru

ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР»

170040, Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.



ISBN 978-5-9781-0332-8



9 785978 103328 >

© Н.Л.Дарузес, перевод, наследники.

© М.Ф.Лорие, перевод, наследники.

© Н.К.Георгиевская, перевод.

© Ю.П.Казаков, текст, наследники.

© Издательство «Самовар»,
составление, серийное оформление.

© РИО «Самовар 1990», иллюстрации.

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

Серия рекомендована
Департаментом
общего среднего образования
Министерства
общего и профессионального образования
Российской Федерации



Художник
Владимир Черноглазов